



ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ

СЕКРЕТИКИ

*“ В детстве мы живем
лишь сегодняшним днем,
повзрослев, обретаем
прошлое.*

Петр Маркович Алешковский

Секретики

Авторский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54076109

Аннотация

Петр Алешковский – прозаик, историк, автор многих книг, в том числе «Крепость» (премия «Русский Букер»), «Рыба», «Арлекин». «Секретики» – непридуманный роман воспитания. Это книга о детстве и юности, о взрослении, которое пришлось на 1960–1970-е годы. Московские дворы и советская школа, подростковые бунты и семейные тайны, джинсы и пластинки «Битлз»... Автор исследует прошлое и «секретики», положенные до времени под стекло.

Содержание

Часть первая	4
1	4
2	16
3	22
4	34
5	42
6	49
7	56
8	65
9	71
10	76
11	81
12	94
13	102
14	107
15	112
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Петр Алешковский

Секретики

Я создан из того, что потерял.
Эмиль Мишель Чоран

*Вот всё – я больше не желаю, В душе моей
цветет мой рай.*
*В. А. Жуковский. Стихи, сочиненные в день моего
рождения*

Часть первая

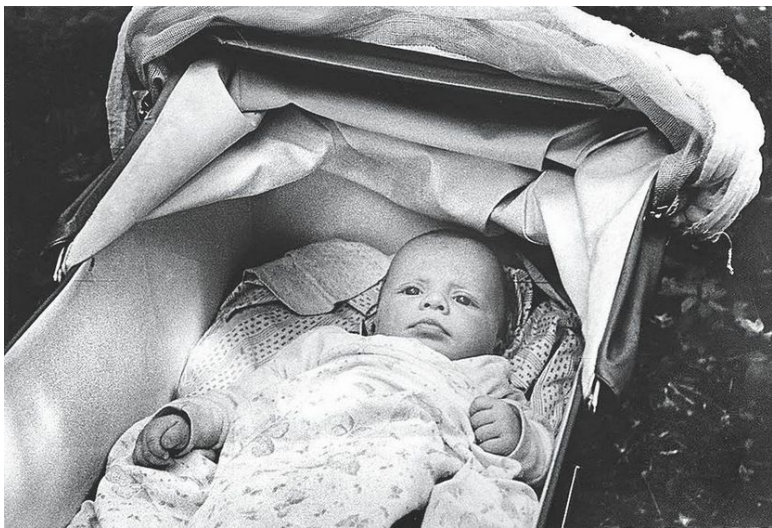
Грибная молитва

1

Я родился 22 сентября 1957 года в Москве, в Клинике акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирёва. Почему маму отвезли туда, я не знаю, многие мои сверстники родились у Грауэрмана на Арбате, что среди коренных москвичей сегодня считается высшим шиком. Проезжая по больничному анклаву на Пироговке, я всегда смотрю на здание с колоннами, где впервые увидел свет. Перед ним вальяжно развалился в кресле бородатый основоположник российской гинеко-

логии. Похожий на усталого Деда Мороза Владимир Федорович заслужил вечный отдых перед фасадом своего детища, став бронзовым памятником, каких в этом переполненном больницами районе Москвы больше, чем во всём остальном городе.

Родился я восьмимесячным и подарил маме тромбфлебит, из-за чего нас долго не выписывали, а маме еще и сделали операцию, после которой она какое-то время лежала на спине с подложенными под ноги специальными подушками. Теперь, по прошествии шестидесяти лет, ходить маме всё тяжелее, ноги у нее болят, но, как водится у людей старой закалки, она ни на что не жалуется, таблетки принимает, советуясь с подругой-биологом, а в поликлинику обращается неохотно, только по острой нужде.



Во дворе Третьяковки

После выписки мы укатили на такси в Лаврушинский переулок, где в служебной квартирке в здании Третьяковской галереи (дед и бабушка тогда там работали) и жила наша семья. По семейным преданиям, низенькая коляска на маленьких колесиках, похожая на ивовое лукошко-зыбку, с запеленутой мумией внутри выставлялась во двор неподалеку от огромных железных ворот – главного въезда на священную территорию Искусства. Там я мирно спал между кормлениями, опекаемый огромным галерейским котом. Кот залезал в коляску и деликатно устраивался у меня в ногах, подобно египетскому Великому Коту Ра, победившему Апопа, змея

тмы. Он сторожил меня, олицетворяя собой радость, веселье, здоровье и жизнелюбие. К заигрываниям проходивших мимо людей он оставался при этом абсолютно глух, не замечая их вовсе. Но стоило мне обдудониться, Великий Кот высовывал усатую серую голову наружу и начинал настойчиво мяукать, призывая на помощь охранницу из проходной. Скучающая добрая тетка в синей полушерстяной гимнастерке с накладными карманами, стянутой в талии широким кожаным ремнем и перепоясанной слева направо портупей с блестящими заклепками, ждала этого сигнала. Заметив высунувшуюся из коляски вопящую кошачью голову, она снимала черную карболитовую трубку настенного телефона и набирала “АВ7-58-75” – номер нашей квартиры.

“Ваш мальчик описался, выходите, – сообщала она официальным голосом и добавляла триумфально: – Кот мяучит”.

Меня забирали домой, мыли над тазом теплой водой из высокого синего эмалированного кувшина с широким горлом, долив в водопроводную воду кипятка из чайника и размешав ее рукой, меняли пеленки и “делали гусеничку”, то есть туго запеленывали по самое горло. Затем меня кормили.

Ничего этого я не помню: ни Великого Кота, ни нестарой еще, строгой лишь с виду вохровки, ни житья в Третьяковской галерее, куда меня уже много позже привела моя любимая бабка Наталья Юрьевна Зограф, хранившая коллекцию русского искусства второй половины XIX века и занимавшая

ся Николаем Ге. Не помню и переезда на Беговую улицу, в кооператив художников, музыкантов и педагогов, где я живу и сегодня. Перевезли меня туда в возрасте полугода и, по воспоминаниям родных, тут же выставили всё в той же коляске на малюсенький полукруглый балкончик, глядящий на тогда уже шумную Беговую и на московский ипподром, расположившийся за линией домов на противоположной стороне.

Длинная беговая дорожка еще не была наполовину скрыта желтыми шестнадцатизэтажками “улучшенной планировки”, построенными в 1974-м – в год, когда я окончил школу. В детстве я прикивал к окну, наблюдая с облепившими забор зеваками, похожими сверху на роящихся мух, как на ежегодном ралли “Русская зима” лихо мчащиеся по льду “жигуленки” и “москвичи” зверски ревут, входя в поворот. Раз в году на трассу ипподрома допускались машины – “Волги”, “жигули” и “москвичи” с форсированными двигателями и усиленными кузовами, с наклеенными по бокам номерами и дополнительными фарами на решетке радиатора, превращавшими обычные легковушки в неземной красоты гоночные аппараты. Каждый из них имел собственное лицо и свой неподражаемый хриплый голос. Посреди поля разбивались походные лагеря – большие армейские палатки, тенты с трепещущими на ветру разноцветными вымпелами, микроавтобусы с яркими логотипами команд, машины сопровождения, зеленые грузовики с запчастями и сменными колесами.

ми, красно-белые “рафики” “Скорой помощи”, бежевые “уазики” судейских, бело-синие автомобили гаишников, длинноносые допотопные “зилы” заправщиков с оранжевой цистерной вместо кузова, оливково-желтые грейдеры с широкими лопатами спереди и косыми отвалами посреди тяговой рамы, колесные трактора с прицепленными сзади боронами, готовые причесать разбитое покрытие перед очередным заездом, маленькие тракторишки-“владимирцы” с красными, как у подосиновиков, шляпками-крышами и круглыми вращающимися щетками. И люди, очень много мужчин, работавших на гонках, а еще зеваки, допущенные по благу в самое сердце ипподрома. От этого снующего и колесящего сообщества людей и машин, столь странного на обычно пустом ипподроме, возникало ощущение праздника. Шквалы ветра бросали в форточку обрывки бравурных песен, лившихся из громкоговорителей, расположенных на столбах по всему периметру беговой дорожки. Казалось, к нам в столицу заехал зверинец с гамадрилами и слонами или передвижной цирк лилипутов “Созвездие маленьких звезд”, обычно сторонящийся больших городов, и гонки – лишь затравка, преддверие чего-то грандиозного, доселе невиданного.

Весь день продолжались круговые состязания. Машины пролетали перед моими глазами, обдавая повисших на бетонном заграждении любителей поглазеть на дармовщинку фонтанами снежных брызг. К вечеру забор был залеплен комками снега, как после мощной косой метели, и из унылой

бетонной линии превращался в стену волшебного ледяного городка.

После окончания заездов суета спадала. Муравейник пустел на глазах. Словно нехотя, начинали разъезжаться машины. Первой отбывала судебская бригада, за ней тянулись службы – “скорая”, гаишники, грузовики, наспех груженные каким-то скарбом. Вереницы машин ползли по полю к выезду – воротам заднего двора. Они объезжали выводной круг с коромыслами – к ним после скачек привязывали покрытых пеной рысаков, чтобы, поведив их с полчаса, сбить горячку забега и отвести на отдых в теплые стойла, – затем медленно петляли между конюшнями и выруливали к шлагбауму, за которым уже начинался город. На изувеченном колесами снежном поле оставалась только техника ипподрома, выстроившаяся в колонну, как самолеты на летном поле в фильмах про войну. С неба начинал сыпать пушистый снежок, замечая оставленное непотребство. На фонарях вдоль трассы зажигались желтые огни, а на дорожке приступали к вечерней уборке грейдеры и колесные трактора с боронами. Из конюшен выныривали стройные лошадиные упряжки – жокеи спешили совершить вечерний променад. И жокеям, и лошадям нужно было снова утвердиться на родной территории, магической нарезкой бесконечных кругов очистить пространство от железных чужаков.

С дореволюционных времен эта земля на окраине Москвы была отдана во владение древнейшим спутникам челове-

ка – лошадям. Изящные беговые рысаки с документально за-
свидетельствованными родословными вели происхождения
от знаменитых предков, выращенных на дворянских конных
заводах XIX столетия. Едкий лошадиный пот падал на до-
рожку, отбивая запахи солярки и бензина, словно кадило,
изгоняющее бесовское присутствие духом ладана. Вот уже
и следа не осталось от машинного разгуляя. Перед глазами
была только тихая пробежка экипажей по огромному полу-
кругу ипподрома, похожая на вечно повторяющуюся литур-
гию, да теплый свет фонарей и мелкий-мелкий снежок, па-
дающий из напоздших с холодной Балтики низких туч, запе-
чатавших на ночь московское небо.

Я и сегодня, оторвавшись от компьютера, постоянно смот-
рю на кусок длинного круга, на привычных лошадок, по-
хожих издавлек на изображения с фресок провинциальной
римской виллы. Зимой они иногда тянут неустойчивые са-
ни с изящно загнутыми полозьями, между которыми бьется
на ветру косою рогожный щиток, уберегающий наездника от
летающей из-под копыт грязи и слякоти, но чаще их запряга-
ют в легкие универсальные коляски-качалки. Над качалками
видны только маленькие головы в шлемах, похожие на крюч-
ки – игрушечные человечки утопают в повозке, непристой-
но выставив вперед широко разведенные ноги. С рысаком их
соединяет тонкая ниточка вожжей и чуть забирающая вверх
толстая линия оглобли. Фонари на беговом круге расставле-
ны на определенном расстоянии друг от друга, как версто-

вые столбы. Некоторые жокеи гонят лошадей что есть мочи, держа в левой руке включенный секундомер, – сверяются с пройденным расстоянием по фонарям. Так замеряется резвость рысака при подготовке к финальному рывку. Но большинство лошадей утомленно передвигают ногами, их головы понуро опущены и чуть подрагивают в такт. На профессиональном жаргоне это называется “работать лошадь”. Глядя на грязь, проступающую на снегу, на сизую полосу льда вдоль беговой полосы, на это ритмичное движение кукольных фигурок, я думаю о том, что без этого унылого и восхитительного пейзажа моя жизнь была бы куда более грустной.

Мой детский балкончик заметно обветшал, бетонная стяжка покрылась глубокими трещинами, и я панически боюсь туда выходить. Сын с дочерью, знающие о моей фобии, не подходят к нему ближе чем на шаг. В советские времена любой балкон, даже такой мизерный и опасный, считался роскошью.

Начиная с поздней весны на балкон переселялся мамин чешский велосипед “Чемпион”, снятый с антресолей. Он дождался отправки на дачу, которую снимали дед с бабкой, чтобы внук проводил лето на свежем воздухе. Велосипед был огромный, тяжелый, с мужской рамой и разбитым войлочным седлом, замотанным черной изолентой. Ездил я на нем, естественно, “под рамой”, враскорячку, и имел постоянно сбитые коленки, густо замазанные зеленкой – в цвет велосипеда. Как сейчас вижу: “Чемпион” со свернутым набором пе-

редним колесом, набычившись, стоит на балконе, перед ним – мешок с картошкой, накрытый старыми газетами и драным плащом, поверх которого лежит тяжелый булыжник.

Но это воспоминание предшкольное, можно сказать, позднее.

Самые ранние картинки похожи на слайды, поочередно вставляемые в проектор. Иногда они идут волнами, одна за другой. Часто эти картинки похожи на старые фотографии – серые кубы и прямоугольники жилых построек, черные параллельные линии троллейбусных проводов, в другой раз возникают скупые цвета: зеленый – цвет окружающих дома деревьев и синий – городское небо, видимое в просветах тяжелых московских облаков.

Физика учит, что волна – явление переноса энергии во времени и пространстве. Она способна удаляться на значительное расстояние от места возникновения. По этой причине ее иногда называют “колебанием, оторвавшимся от излучателя”.

В школе, имея по физике стабильную тройку с минусом, я никогда не задумывался о волновой природе энергии, теперь же не устаю восхищаться сложно настроенным механизмом памяти-излучателя. В том, что всплывающие в сознании “слайды” – это своего рода сгустки энергии, преобразившиеся в зримую картинку, не сомневаюсь ни на йоту. Если всё вокруг – преображенная энергия, тогда понятно, как действует память. Энергия, вложенная в слова, форму,

цвет, звук, без сомнения, сохраняется, достигает читающего, смотрящего, слушающего, рождая образы. Образы утраченного рая, бережно хранимые в глубинах мозга, – запахи, цвета, прикосновения, вдруг оживающие в кончиках пальцев, жемчужные узоры на мокрой утренней паутине, показанные тебе отцом, чуть стершийся грифель карандаша над незаконченным любовным посланием, чайная ложечка в банке с пенками от малинового варенья, напомнившая серебряный бочок рыбы в аквариуме парикмахерской, где тебя уродливо стригли “под полубокс” на специальном стульчике, водруженном на никелированные ручки продавленного кресла, ниточки прежних мыслей, не додуманных и затерявшихся по пути, обрывки сладких мечтаний, рожденных под ватным одеялом при оранжевом свете ночника, – эти картинки, столь разные для каждого и столь каждому знакомые, не вызовут ничего, кроме скуки, не будь в них энергии первого переживания, сохраненной на всякий случай где-то в кладовых мозга.

Почему после посещения большого музея часто болит голова? Много излучателей, слишком много для одного приемника.

Энергия искусства, возникающая из взаимодействия его элементов, подобна энергии химического опыта: эксперимент идет своим чередом, и это только кажется, что ты властвуешь над процессом... Никто ни над чем не властен. И сердце сжимается, стучит чуть сильнее, зрачок расширяется,

приближаясь к тусклому стеклу. За ним проплывают любимые люди, пейзажи и предметы, без которых тебя просто бы не случилось. Тепло спускается от головы к сердцу и заполняет его целиком – это энергия, хранящаяся в тебе с самого детства, не знаю как, но знаю зачем. Чтобы в нужный момент ты мог ею поделиться.

2

Река Медведица, приток Волги, течет в Тверской области среди хвойных лесов. Остатки сосновых боров и новые лес-промхозовские посадки украшают ее берега. Она не большая, но и не маленькая, вполне себе живописная средне-русская река: рыбная, с заводями и быстринами, с заметным глазу течением, с которым сопутствуют плывущие по небу облака, сухие ветки и старые листья, упавшие с берегов. На Медведице полно песчаных плесов и маленьких пляжей, окруженных любящими песок соснами. Сюда удобно причалить, завязнув носом на отмели в двух шагах от речной кромки, и, спрыгнув прямо в прохладную воду, вытащить на берег баул с барахлом, оставляя за собой быстро наполняющиеся блестящей влагой следы босых ступней. Расставив удочки и навесив на донки колокольчики, хорошо следить за медленным течением реки, растворяясь в тишине нисходящего вечера.

Я ежегодно по несколько раз переезжаю Медведицу, перебираясь из калязинской деревни в вышневолоцкую или наоборот. И каждый раз мечтаю съездить в Акатово, где всё для меня начиналось, и каждый раз проезжаю мимо, потому что в Акатове никто меня не ждет. Я даже не представляю, как оно выглядит, это нынешнее Акатово.

Одно из первых воспоминаний: я стою на столбе заплота

– изгороди, окружающей деревню, чтобы скот не ушел в лес. Столб кажется мне очень большим и надежным. Я, обутый в резиновые сапожки, стою свободно, чуть расставив ноги, на спиленной макушке еще есть место для двух таких же маленьких ног. Стою высоко надо всем миром, тут весело и легко, день жаркий, ни ветерка. Передо мной скошенный луг и дорога – две пыльные колеи, еще не просохшие от ночной росы. Дорога, почти черная, уходит куда-то вдаль. Я встречаю папу, он должен приехать на смену маме. Мама недавно уехала. Теперь-то я знаю: она уезжала в Чехословакию по турпутевке. Тогда я таких слов не сумел бы выговорить. Мне три года.

В семейном архиве сохранилось письмо маме, записанное красным карандашом с моих слов бабушкой Юрьевной. Под текстом каляка-маляка, означающая, вероятно, мою подпись. Текст письма помню наизусть: “Мама дягодя, бизизи Пети кададасик и мумагу. Я это очинь хочу”. Нормальная семейная транскрипция, к диалектологической записи просторечия отношения не имеющая.

Папа всё не едет. Мне так весело, что я просто поднимаю руки вверх и стою, высоко, выше всех-всех и всего-всего. Кто-то, кажется Вера, стоит за моей спиной, страхует, но мне не страшно, мне легко, словно я совсем ничего не вешу. В тот день, когда я утром чистил зубы, Юрьевна подхватила меня сзади, поднесла поближе к рукомойнику и держала, пока я полоскал рот и мыл лицо, а потом отпустила. Я нарочно

приземлился в лужицу под рукомойником и с криком “Оппля!” обдал бабку брызгами. Она выдала свое любимое: “Балбес!” – и добавила, смеясь: “Петька, какой ты стал тяжелый!” И я, конечно, переспросил: “Какой?” – но ответа не получил.

А теперь выцветшая фотография. 9×12. Я стою на столбе, чуть подавшись вверх и вперед, сапожки почти не видны, выгорели от времени, осталась лишь тень, бледно-серый абрис. На мне блекло-белое пальтишко, расходящееся книзу колоколом, как девчачье платьице, на голове панамка из трех лепестков, уже точно белая. Вокруг – серый фон, ни облаков, ни полосы земли или макушек деревьев, я словно готовлюсь к взлету.

Кто сделал фото, выбрал ракурс? Отец, мама, дед? Значит, был кто-то рядом, и я всё сочинил про Веру, что меня страховала? Но Вера была с нами, я точно помню.

Потому что там были грибы. Они – мое первое настоящее воспоминание. Нет, такой фотографии с грибами в архиве и быть не может.

Три, нет, четыре, четвертый поменьше и выглядывает из-за спинки третьего, и вот еще – маленький чуть в стороне, пузатый и крепкий, с нераскрывшейся коричневой шляпкой, туго облегающей его туловище, как панамка коротко стриженную детскую голову. Три огромных, увиденных раньше всех, стоят прямо напротив меня, под мохнатой еловой лапницей. Длинные ножки, у самого большого чуть кривоватая, и шляпки... все три сразу не обхватить и не унести! Кажет-

ся, мы почти одного роста, я только чуть-чуть выше, поэтому я сажусь на попу, широко расставляю ноги и смотрю на них неотрывно.

Теперь всё по-честному: мы сровнялись, шляпка самого главного больше и тяжелее моей головы. Я в восторге тяну к ним руки, растопырив пальцы, я хочу их и немножко боюсь. Никакой фотограф не сможет так вот, вровень, их снять, получатся просто боровики, как в перекидном календаре грибника. Вера срезает их ножиком, деловито половинит шляпки, отбрасывает две самые большие и червивые, а я всё капризно тяну к ним руки, я настаиваю – взять! Вера радостно смеется.

– Пойдем, надо посмотреть вокруг, тут должны быть еще.

Мы отправляемся в обход опушки. Она тянет меня за руку, в другой ее руке – корзинка с белыми. И, о чудо, буквально в нескольких шагах из прошлогодней хвои выпирают еще и еще – крепко сбитые маслянистые шляпки, красно-коричневые, остро пахнущие тенистой опушкой, особенным лесным запахом, каким и положено пахнуть страшной полутьме, где живут Баба-яга и Серый Волк, в которых я почти не верю. Грибов так много, так много! Корзинка уже полна и пора возвращаться. Деревня совсем рядом, только пройти краем поля с жесткой желтой травой, высокой и колючей. Она называется “хлеба”.

Я плетусь за Верой. Мне тяжело идти под солнцем, мне не хочется уходить от грибов из влажной прохлады, ведь их

там еще сотни! В лесу всего всегда много: черники, хвоинок, листьев, веток, муравьев и кусачих комаров, поэтому перед прогулкой Юрьевна всегда мажет меня одеколоном “Гвоздика”, от которого становится тяжело дышать. Но Вера, моя няня, восемнадцатилетней девушкой приехавшая из полтавской деревни на заработки в Москву, Вера, привыкшая шагать без устали, тянет меня домой. Пора есть бульон с противными манными клецками и вкусную вареную курицу с рисом. Я плетусь след в след, закрываю глаза и тайком нюхаю пальцы, они пахнут грибами. Шляпки торчат из корзинки, но они уже другие, вялые, притихшие. Там, один за одним возникая из-под земли, они всё молили: “Сорви меня, сорви меня!”, как в сказке про волшебные яблоки. Так они и появляются передо мной, стоит только закрыть глаза. Я один слышу их молитву, потому что взрослые не умеют слышать грибные голоса. Вот и Вера называет меня фантазером. И тут возникает Верина рука и тянет меня от них настойчиво и бесцеремонно, как она делает всегда, когда ей надоест меня ждать. Я вздрагиваю, резко открываю глаза, и грибы мгновенно умолкают.

После обеда я ложусь на теплый и пахучий сенной матрас. Я уже пролежал в нем уютную ямку, но матрас всё еще нет-нет да и уколется мне щеку, пощекочет бок или плечо, подобно котенку, живущему с нами в доме. Вера встряхивает клетчатый шерстяной плед и накрывает меня с головой. В щелку, из которой я подглядываю, в косом солнечном луче, бьющем из

окошка, летают пылинки. Чуть подрагивая, они кружатся в спекшемся воздухе избы, как ласточки в небе, веселые и беззаботные. Плед, темно-зеленый в черную клетку, с приятно щекочущей лицо бахромой по краям, казался тогда огромным. Укрыв меня, он превращался в волшебную палатку и защищал от страшного немого лунного света и от ворчания моей полтавской няни, подбиравшей с пола наспех сорванные и брошенные как попало штаны и рубашку. Как же удивительно он съезжился и поистерся потом, когда я видел его в последний раз. Бабка посапывала у телевизора после рабочего дня, накинув любимый (а скорее, единственный) плед на плечи, как махровое полотенце после бани.

Спрятавшись в своей палатке, я закрываю глаза, и грибы вырастают передо мной: четыре огромных и маленький, чуть в стороне, и потом на опушке – уже без счету. Они лезут и лезут из земли, такие прекрасные и такие разные: пузатые и кривые, с засохшими листиками на макушках и налипшими на влажные тельца сухими иголками.

Они являются мне до сих пор, приходят иногда в момент перехода от бодрствования ко сну как бессловесная грибная мелодия-молитва, навечно приворожившая меня к той тенистой опушке. Только вот не взглянуть мне уже никогда в лицо огромному боровику, разве что во сне или вот так – на бумаге.

3

Деревня называлась Старое Акатово. На поезде мы доезжали до Савелова, а потом на пароме перебирались через Волгу в Кимры, отходил катер до Нового Акатова. В нем стоял один-единственный дом, где жила тетка Шура по кличке Шура-Шамура. У нее обосновались Зографы: бабкин брат Дяколя со своей женой Тютюкой (маминой теткой, которую мама же и наградила прозвищем, ставшим семейным именем) и дочкой Ольгой. В доме у Шуры-Шамуры было неуютно, грязно и суетно, Зографы там только столовались, если не обедали у нас. Спали они в палатке, поставленной прямо на берегу. Дяколя страдал от сколиоза, ходил, согнувшись клюкой, как деревенские бабки. Таскать байдарку ему было тяжело, поэтому они и поселились прямо у воды. Мы же нашли дом в Старом Акатове – метрах в пятистах, на взгорке. Двое человек легко носили нашу трехместную байдарку на плечах до самого берега. Ничего этого я, конечно, не помню.



Зато помню воротину на околице, на ней было весело кататься туда-сюда, что мне не запрещалось. Едва помню дом, вероятно, всё же Шурин-Шамурин, около него стояла лошадь с телегой ее приятельницы тети Сюты, на которой я иногда подъезжал куда-то, вероятно, домой от Зографов. Тетя Сюта работала почтальоншей и еще развозила хлеб. Каждое утро мне давали бутерброд – ломоть, намазанный маслом, иногда с кусочком сыра. Я вгрызался в него, на масле отпечатывался полукруглый след от зубов. Важно было аккуратно откусить первый большой кусок и потом, жуя, рассматривать четкий отпечаток-подкову. Когда взрослые не видели, Вера посыпала мне масло сахарным песком. Кажется, с тех пор я не ел ничего вкуснее, чем пористый упругий серый хлеб (лучше всего – горбушка) с маслом и крупными кристалликами сахара, приятно поскрипывавшими на зубах. Запивать это простейшее пирожное можно было и молоком, но всего лучше сладким чуть теплым чаем!

У Шурино дома случилась моя самовольная поездка на телеге. Почему меня на ней забыли, оставили на короткое время? Отчетливо вижу, как сажу вместо возницы на брошенном на доски клоке сена совершенно один. Рядом огромный серый дом. Жарко. Лошадь прядает ушами, бьет копытом и с характерным свистом отмахивается от оводов хвостом. Вот она дергает телегу. Раз – шажок, два – еще ша-

жок, телега со скрипом продвигается вперед. Я беру в руки вожжи, не натягиваю, не подстегиваю лошадку – мне бы это было не по силам, – просто попугайничаю: все, кто сидит на этом месте, держат в руках вожжи. Умная коняга, почуяв знакомый сигнал, вскидывает голову и начинает медленно идти вперед. Я, как маленький Будда, застыв посреди необъятной телеги, еду за умученной жарой кобылой прямо к воде. Телега заезжает в Медведицу на полколеса, лошадь опускает голову и начинает тянуть губами воду. Она делает это бесшумно, но жадно, я просто сижу и жду. Вскоре взрослые спохватываются, но как меня вывозят из воды и кто это делает, не помню. Зато как лошадь пьет, как шумно вздыхает перед тем, как вновь погрузить морду в воду, как я смотрю на ее вздымающиеся и опадающие бока, вижу воочию. На меня она ни разу не обернулась, напившись, стояла в прохладной воде и смотрела вдаль – на кусты на другом берегу.



“С мамой, Верой и тетей Сюттой”. Акатово

Видимо, эта история наделала шуму, потому что я не слышал потом рассказы, как Петька укатил в реку на кобыле. Поэтому я и запомнил? Или потому, что сохранилась моя фотография на той телеге? Но помню отчетливо и секущий хвост, и цвет (лошадь была грязно-черная), и раздувавшиеся бока.

Всё, что двигалось, притягивало меня: повозки, машины, лодки, пароходы. Лошадей меня приучили не бояться там, в Акатове. Их влажные губы, аккуратно берущие с ладони краюху, посыпанную каменной солью, я люблю с тех самых пор.

Машины, трактора и мотоциклы издавали поразительные завораживающие звуки. Я всегда бросался к окну и провожал их, пока мог видеть, но, конечно, не в городе, где они были частью привычного пейзажа, а в деревнях, где мы проводили теплые летние месяцы – время семейного отпуска. Вспоминая колесный пароход, я сперва слышу равномерное хлюпанье колесных лопаток чпок-чпок, чпок-чпок, и только затем возникает в памяти пенный след за бортом и закопченная белая труба с идущим из нее грязным дымом. Однажды на реке дед обратил мое внимание на колесное чудище и рассказал о невидимом винте, сменившем громоздкие колеса, которые на заре пароходостроения приспособили к паровой машине, позаимствовав у водяных мельниц. Зачем-то я на всю жизнь запомнил, что первую водяную мельницу построил греческий ученый Перахор в III веке до нашей эры. Мы долго стояли на берегу, провожая прогулочный корабль, пока он не стал маленьким и совсем неинтересным.

Отдыхали мы всегда на воде. А где вода, там и лодки, и конечно же, рыба. В юности дед с бабкой много сплавились по рекам, в основном по Волге. Дедов дед (мой прапрадед) гонял по ней бурлацкие баржи, и дед не без гордости рассказывал, что крепостной крестьянин Недошивин сумел выкупиться у помещика, правда, сделал это в 1860 году, за год до отмены крепостного права. Вероятно, любовь к воде передалась деду, а через него и мне.

Перед войной дед с бабкой и их друг, искусствовед Юрий

Колпинский, отправляясь в путешествие, покупали задешево у местных мужиков челнок или дощатую лодчонку, грузили в нее палатки и нехитрый скарб и сплавлились по заранее намеченному маршруту, ночуя на берегах в приглянувшемся месте, купались, ловили рыбу или покупали ее у рыбаков за копейки. В конце маршрута челнок продавали за бесценок или просто бросали на берегу. Так они проплавали несколько лет. Потом всю жизнь я слушал истории о том, что случилось с ними по пути, иногда на сон грядущий, иногда просто вспомнившиеся к месту.

Колпинского я не помню, но одну из их коллективных шуток, постоянно повторяемую дедом за столом, когда я начинал артачиться, не желая доедать положенное в тарелку, запомнил: “Хай скопье поганэ панчо, но не сгине буонна паппа”, – приговаривал дед и пояснял: одно слово украинское, другое – итальянское. Так они перевели пословицу “Пусть лопнет проклятое брюхо, но не пропадет хорошая пища”. Колпинский родился в семье дипломатов, в детстве жил в Риме, и итальянский был для него вторым родным языком. Как закончили жизнь его родители, я у деда почему-то не спросил.



Герман Недошивин и Наталья Зограф. Путешествие по Волге. Весна 1931

После войны сплавляться по реке им было уже не по силам, но, сохраняя традицию и селясь у воды, дед завел байдарку. Как сейчас вижу Юрьевну около стоянки такси на Ленинградском вокзале. Она в темно-синем ситцевом платье с коричневыми огурцами и белой вязаной кофточке. Курит сигарету. Я стою рядом. Мы стережем рюкзаки, а дед возвращается с платформы, куда только что отнес огромный заплечный тюк из толстого брезента и два составных весла, оставив сторожить их мою маму. Перетаскивать байдарку в

поездке было муторно, но оно того стоило. У нас была своя лодка, мы были мобильны и ни от кого не зависели.

Процесс сборки мне особо памятен. Я всегда подавал разложенные детали. Дед собирал остов носа и корму, запихивая их в приготовленную резиновую шкуру. Затем составлялся хребет – пол и шпангоуты, и лишь в конце сборки со стыковывались борта. Когда лодка была готова, ее переворачивали днищем вверх, чтобы не намочило дождем, и оставляли в тенечке, чтобы резина не перегрелась и не потрескалась. Сидеть в байдарке, вытасченной на берег, категорически запрещалось, можно было сломать легкие соединительные рейки, прочные только на плаву. После завтрака, если была запланирована поездка, мама с дедом взваливали лодку на плечи и переносили ее на берег к зографовской палатке, где лежала их байдарка, точная копия нашей. Байдарки были трехместные. Красные деревянные фальшборты от времени истерлись и утратили первоначально яркий цвет, резина на днище пестрела заплатками. Поэтому аптечка с клеем, наждачной бумагой и кусками велосипедных камер всегда лежала в кармашке рядом с местом рулевого.

Лодку спускали на воду. Дед придерживал ее с кормы, пока женщины усаживались – мама спереди, бабка посередине. Затем залезал я, маме в ноги; последним, выведя просевшую под грузом лодку поглубже, с причитаниями, что вода мокрая и холодная, в байдарку залезал дед. Мама и дед брались за весла и начинали грести – сильно и с удовольствием, мы

с Юрьевной обозревали окрестности. Бабка обычно произносила приказным тоном: “Петька, прекрати кричать, ради бога, ведь с ума можно сойти”. Но я отлично знал, что с ума она не сойдет, и продолжал громко вопить или петь сочиняемую по ходу песенку.

Чтобы уговорить меня, мама заводила “Бригантину”. Мы плыли, и вода журчала, обтекая наше суденышко, веселая и темная. Я смотрел на буруны, остающиеся от маминых весел, или вертелся, чтобы увидеть буруны от весел деда, а когда лодка начинала раскачиваться, предупреждая дедов окрик, замирал и следил за режущим воду носом, разглядывая торчащие из воды деревья у затопленных берегов или страшные мохнатые водоросли, если байдарка шла над мелью. Особенно я любил, когда лодка продиралась сквозь заросли тростника. Стоящее стеной зеленое войско рядами ложилось под днище, и за байдаркой оставался просвет, словно его сделало каменное ядро, вылетевшее из старинной пушки. Иногда дед называл мне водные растения, и я научился распознавать трилистник, похожий на обычную траву, чьи стебельки заканчивались неприметными бледно-розовыми, почти белыми цветочками. Еще я любил рвать белые кувшинки на толстых жирных стеблях и выкладывать из них узоры на носу байдарки. Специально для меня и мамы дед заруливал в стоячую воду, темную и плотную, похожую на бесконечное зеркало. Мама прекращала петь, и мы принимались собирать кувшинки, или нимфеи, как полагалось на-

зывать их по-научному. Волны от лодки качали маслянистые листья нимфей с сердцевидным вырезом, проходили дрожью по зарослям ряски, преображаясь в мелкую рябь, которую задерживали и глушили ее мелкие зеленые кружочки размером с новогоднее конфетти. Они словно вбирали в себя волны всем своим огромным сообществом, заполонившим безветренные заводи.

Позднее, уже в Москве, мама много раз пела мне “Бригантину” и много раз объясняла непонятные слова типа “грошевой уют”. В нашей семье, привыкшей к санным матрасам и разборным байдаркам, в этом объяснении не было особой нужды. Но я упрямо пел “грозовой уют”. Так было понятней, красивей и больше соответствовало героическому настрою песни. Может, поэтому дедову мини-лекцию перед сном про медный грош – самую мелкую монетку, от названия которой пошло непонятное мне слово, – я и не забыл – из упрямства и несогласия со взрослыми. Дед, конечно же, объяснил мне выражение “гроша ломаного не стоит” и рассказал, что в копейке было два гроша. За такую маленькую монетку (грош) можно было проехать на телеге всего лишь километр пути или купить пирожок с капустой. Понятно, что на ломаный, помятый, погнутый или истертый за время употребления грош ничего купить было нельзя. Зато когда строили церковь и по дворам ходил пономарь, собирая в шапку монетки на колокола, даже ломаный грош шел в дело, ведь колокола лили из меди. Все древние колокола и даже огром-

ный царь-колокол, который мы видели с мамой в московском Кремле, были сделаны из простых медных денег. Рассказывал и объяснял дед всегда мастерски и так интересно, что я не хотел засыпать.

Еще из Акатово.

Через месяц мне будет пять. Определение времени действия подобно работе историка с текстами: поиски косвенных ссылок – основного датирующего материала. Хорошо помню вечер: солнце заходит или почти зашло, вода блестит, водяная трава стоит не шелохнувшись, как и кусты ивняка, склоненные к реке. Всё зеленое темнеет на глазах, наливается вечерней силой и ползущим по земле холодом. Мы вышли на берег к самой кромке воды. У противоположного берега две смолёные лодки сплавляются по течению, весла брошены и бессильно висят у бортов, словно рукава боярских кафтанов на иллюстрациях Билибина к “Сказке о царе Салтане”. Веселая деревенская компания в лодках гомонит, звуки по воде разносятся далеко. Мужик на носу передней лодки растягивает гармонь во всю ширь. Она издает животный вздох, но все хохочут, отмахиваются от гармониста и не дают ему начать, тогда он обиженно сдувает гармонь, как кузнечный мех, и она обдает загулявших презрительным звуком. Чья-то рука со стаканом замирает на мгновение в воздухе, человек что-то выкрикивает, слов не разобрать, зато ответный рев разлетается по всей округе, как отголосок выстрела. Веселье заполняет пространство, разрывая привычную тишину на клочки.



Акатово, 1960-е

Вечерами дед всегда клал в карман фонарик. Особенный, конечно, как и все его вещи, хранившиеся в большом ящике письменного стола, которые я так любил разглядывать: перочинный ножичек с костяной рукояткой, малюсенькие пасьянсные карты, огромная складная лупа, портмоне со множеством кармашков, набор остро заточенных цветных карандашей, электробритва, которой он гудел по утрам, и всевозможные скрепки, кнопки и старые телефонные книжки – мне казалось, что он никогда ничего не выбрасывает. Там же лежал черный динамо-фонарь “летучая мышь”, который он

брал в поездки. Его надо было сжимать в ладони, добывая огонек. Фонарь хрипло жужжал и освещал дорогу под ногами направленным подрагивающим лучом. Мне нравилось с ним играть, но рука быстро уставала, и я терял к нему интерес. Тогда, на берегу, дед жужжал своей “летучей мышью”, давая знать людям в лодках, что мы за ними следим.

Свет заметили и закричали: “Герман, Герман полетел!” И вся разноголосая компания выдала дружное “ура!”.

Значит, было это 9 августа 1962 года. Всё сходится: отдыхали мы всегда в августе. Через полтора месяца мне должно было исполниться пять лет.

Потом всё же прорезалась гармонь, и женский глубокий голос запел красиво и протяжно. Остальные умолкли. Я спросил, что это там еще за Герман? Для меня это было имя деда и только его. В деревнях дедово имя всегда путали, называя чуть ли не Гермогеном, как позже неправильно произносили мамино отчество в экспедициях, клича Германовной с ударением на “а”, но стоило пояснить: Германовна, как Герман Титов – и больше уже не ошибались. Второго космонавта все знали и очень любили, конечно, чуть меньше, чем первого – народного героя. Кто такой Герман Титов, дед объяснил мне там, на берегу Медведицы, а потом, предупреждая готовые посыпаться вопросы, резко сказал: “Молчи, слушай”. И мы стояли и слушали, пока лодки уносило дальше по течению, и над рекой долго истаивали звуки гармонии и женский грудной голос, слившиеся, как две струи, в одну щемящую

мелодию.



В тот вечер я выбежал из дома босой, возвращаться пришлось уже по росе, штаны намокли, ноги заледенели, стали белые и блестящие. Ноги мне отпарили горячей водой из синего эмалированного кувшина прямо над огромным китайским тазом, долго еще жившим в нашем семействе. Штаны бабка повесила на гвоздь в запечке, утром я надел их, сухие и словно пожеванные снизу, но очень скоро складки расправились, и от того вечера не осталось и следа.

Перед сном дед рассказал мне историю. Темной августовской ночью они с Колпинским сидели на берегу Волги возле палатки, жгли костер и кипятили чайник. Луна ныряла в облака, от воды тянуло прохладой. Слышно было, как плещется в воде рыба, на небе проглядывали редкие звезды. Костер потрескивал, освещая маленький пяточок, пламя било по глазам, отчего округа, песчаная коса и вода погружались в черноту. Они о чем-то тихонько говорили, как вдруг отчетливо услышали голоса с воды.

– Степан, – хриплый разбойничий басок прилетел откуда-то со стремнины, – заходи справа, там коряга у берега, к ней приставай.

– Знаю, подойдем по-тихому, – откликнулись со второй лодки так же зловеще.

– Тише ты, гребь скорей.

Заговорщики замолчали. Захлопали весла, лодки забира-

ли лагерь в клещи. Дед с Колпинским решили пока не будить жен, спящих в палатках, но изрядно всполошились. Оружия у них не было, они выбежали на берег, но в кромешной тьме ничего высмотреть не удалось. Тогда Колпинский схватил весло и принялся лязгать уключиной, качая ее взад-вперед.

– Гера, подай-ка патроны, – бодро заявил он во тьму, – сейчас я им покажу.

Он положил весло, как мушкет, на плечо, направив его в темноту и опять лязгнул уключиной.

– Как станут подходить, свети фонарем, нас в темноте видно не будет, – скомандовал он деду.

Наступила тревожная тишина. Обороняющиеся и наступающие затаив дыхание пытались разглядеть друг друга. Наконец с воды послышалось:

– Степан, оружие у них, не зашибли бы, – хриплый голос звучал теперь как-то неуверенно.

– Мужики, побойтесь бога, мы тоню тянем, не застрелите случаем, – взмолился второй плаксиво.

Тут всё и прояснилось: рыбаки из соседней деревни тянули невод, стараясь обложить длинный плес, к которому ночью подходили кормиться судаки. Мужики пристали, сведя лодки у намеченной коряги, и дед с Колпинским помогли им вытянуть сеть на берег. Выбрав рыбу и уложив сети на борт, все пошли к костру. Рыбаки угостили их стерлядкой и судаками, Колпинский разбавил спирт, сварили ухи, разбудили жен и попиrowали всласть, посмеиваясь и без конца пе-

редразнивая друг друга. Просидели у костра почти до утра и разошлись друзьями.

– А потом? – спросил я деда.

– Потом мы пошли спать, и тебе пора.

Очень скоро речные истории закончились, и появился Балумба. О том, что его убили, я услышал по радио и, взволнованный, начал приставать к деду с вопросами. Дед улыбнулся и пообещал рассказать про Балумбу перед сном.

Патрис Лумумба – первый премьер-министр Демократической Республики Конго, поэт и герой современного Заира, деятель левацкого толка и большой друг СССР – был убит в ходе переворота в 1961 году. Об этом много писали газеты, и неизвестного дотоле худощавого и симпатичного африканца в профессорских очках знали все. Лумумба проник в каждый советский дом, хату, юрту, чум и ярангу. Пионеры на линейках клялись в любви к народу далекой африканской страны, отважно борющемся с кровожадными колонизаторами. Университет Дружбы народов, названный его именем, существует до сих пор, правда, имя африканского лидера теперь утратил как неактуальное. Даже я, четырехлетний, понял, что тот, о котором поют песни и без конца говорят по радио, очень важный человек. А то, что чуть-чуть спутал имя, не беда. Как оказалось, очень кстати.

Вечером дед присел около моей кровати и принялся рассказывать. Его Балумба был совсем не похож на человека из радиопередачи, он был добрый волшебник и жил в той самой Африке, куда доктор Айболит ездил спасать бедных зве-

рей, в стране, где были чудесные леса и горы, страшные болота, кровожадные крокодилы, простодушные слоны и злобные буйволы, хитрые обезьяны и отвратительные гиены. Там было всё, что нужно для сказки на ночь.

Начиналась сказка всегда одинаково: “Однажды Балумба пошел на охоту. Взял с собой что полагается: легкий топорик, кресало для добывания огня, длинное и легкое копье, лук и стрелы, моток конопляной веревки. На пояс он повесил кривой нож, а за плечи закинул джутовый мешок на широких лямках, чтобы было легче нести поклажу”. Дальше разворачивалось действие: “Вот пошел он из деревни по тропинке, что вела в Черный лес, полный высоких деревьев, их кроны сплетались в вышине, образуя сплошную зеленую крышу. Через нее почти не проникало солнце, но и дождь не протекал. А дожди в Африке, если случаются, бывают очень обильные, реки взбухают и выходят из берегов, рыба расходится по ручьям и протокам, поля с просом и кукурузой заливаются водой, а в деревни приходит голод.

Поэтому профессия охотника, каким был наш Балумба, а он был лучший охотник из всех, кого знала Африка, считается очень почетной. Итак, Балумба отправился в лес и встретил большую жабу. Она сидела на пне, толстая, вся в бородавках, и жалобно раскрывала широченную пасть. Жабе было больно, ее передняя лапка безвольно свисала, переломанная в двух местах...”

Так Балумба, конечно же, вылечивший жабу, обретал вол-

шебного друга и с его помощью спасал по ходу дела маленькую газель, поросенка-бородавочника, детишек обезьяны-носача и всегда находил выход из хитрой ловушки, устроенной на его пути колдуном из соседнего племени чомбо. Или находил водопад, а под ним пещеру, где хранились алмазы. Их продавали на рынке и строили в деревне большую больницу, где лечили всех жителей от поразившей их вдруг страшной глазной болезни. Чего с ним только не случилось! Понятно, что действие развивалось неспешно, никогда не укладывалось в один вечер, и, что самое интересное, можно и нужно было задавать вопросы, требуя объяснить незнакомые слова. Исчерпывающие ответы зачастую превращались во вставные новеллы. Однажды, когда бравый охотник спас поросенка-бородавочника и сказка должна была закончиться, Балумбе вдруг пришлось еще спасти огромное стадо свиней от охотников-англичан. В благодарность спасенные свиньи вырыли Балумбе огромный гриб трюфель, продав который он смог построить школу для деревенских детей. Так в сказку незатейливо затесался рассказ о трюфелях, которые по пути из Петербурга в Москву любил отведать в гостинице Пожарского в Торжке сам Пушкин, много раз той дорогой путешествовавший. Вернуться к продолжению главной истории порой оказывалось непросто, и мы вместе начинали вспоминать и восстанавливать ход событий, словно распутывали клубок волшебной пряжи.

Я ждал Балумбу как манну небесную, которой он однажды

во время засухи накормил сто тысяч соплеменников, подобно богу, накормившему Моисея и его соплеменников во время их сорокалетних скитаний по пустыне. Кстати, рядом с деревней Балумба тоже была пустыня и там с ним, конечно же, приключались разные истории. Уложить меня в постель не составляло никакого труда. Но вот что я скоро понял – дед тоже ждал этих вечерних сказок. К концу ужина он начинал хитро поглядывать на меня, и я понимал: дед знает – сегодня случится такое, что сразит меня наповал.

– Балумба! – кричал я, выскакивая из-за стола. – Балумба! Балумба! – и, исполняя африканский танец, мчался к тазу мыть ноги. Дед выходил на крылечко покурить, я залезал в постель и ждал его. Настоящая дикая энергия распирала меня изнутри. Я вжимался щекой в подушку, остро пахнущую вкусным сеном, и потихоньку успокаивался, поджидая рассказчика.

В Заире вряд ли пели наши песни, посвященные убитому премьер-министру и поэту. Взять хотя бы официальную, бравурную, на музыку Дмитрия Покрасса и слова Михаила Вершинина:

Конго (буб-бум-трам-пам-пам!) – далекий черный
материк!

Конго – и сердца пламенного крик.
Конго – ко-ло-низаторской ордой
Убит герой – твой, молодой.

Привет:

В огне и дыме Лумумба с нами,
Лумумба с нами, брат наш боевой!
Лумумба – имя! Лумумба – знамя!
Лумумба в сердце Африки живой!

Скорее всего, именно эта песня меня и напугала, родив вместо “брата нашего боевого” хитроумного и отважного чернокожего охотника.

Некоторое время назад, когда стало принято вспоминать старые советские песни, Алексей Козлов с Андреем Макаревичем спели студенческую пародию на песню про Лумумбу. Песня эта мне хорошо знакома, ее часто пели у нас в археологических экспедициях. Вот она:

Погиб, убит герой Патрис Лумумба,
И Конго без него осиротело.
Его жена, красавица Полина,
С другим мужчиной жить не захотела.
Его убил злодей народа Чомбе,
Даг Хаммершельд послал его на дело,
И эта весть тотчас же, словно бомба,
Весь шар земной, конечно, облетела.

Исполнялась она на мотив танго, и хорошо было петь ее в яблоневом саду в Гнездово. Мы собирались там по вечерам после работы, пили портвейн, пели до одури и расходились

под утро поспать часок-другой перед завтраком. Утром все залезали в грузовик, где, держась за скамейки, подпрыгивали на ухабах сорок минут до Смоленска или до курганной группы. Отгорланив “Крамбамбули, отцов наследство”, переходили на что-нибудь менее героическое. Часто, переглянувшись, запевали “Лумумбу”. Почему-то тогда я ни разу не вспомнил чудесного Балумбу.

Лумумба был настолько популярен в СССР в 1960-е, что сохранилась и еще одна песня о нем. Приведу это студенческое сочинение, которое припомнил мой ленинградский приятель, археолог Сергей Белецкий, в публикации об археологическом песенном фольклоре:

Есть в Африке Конго,
Есть в Африке Конго,
Есть в Африке Конго такая страна.
Есть в Конго Катанга,
Есть в Конго Катанга,
Есть в Конго Катанга – провинция.
Жил в Конго Лумумба,
Жил в Конго Лумумба,
В Катанге Лумумба правителем был.
Но злобный Мабута,
Но злобный Мабута,
Но злобный Мабута Лумумбу убил.
Убили Лумумбу,
Убили Лумумбу,
Сожрали Лумумбу – осталась берцовая кость.

О хам-хам-хам-хам, о шейк!

– Где ты был?

– В Конго я был!

– Что же ты Мабуту упустил!

Но нашим с дедом героем всегда был Балумба, а после дедовой смерти он стал только моим. Он и сейчас собирается на охоту в каком-то африканском Акатово, берет с собой всё необходимое и, осторожно ступая босыми ступнями по мокрой от росы траве, направляется в лес.

6

А потом пришла скарлатина. У мамы в шкафу, среди папиных рисунков, хранящихся в огромной папке, есть один, который я люблю разглядывать. Угол избы – две сходящиеся бревенчатые стены, на раскладушке лежит мама с выпирающим подбородком и крюкастым носом, похожая на Бабу-ягу. Папа явно подражал экспрессионистам – малиново-фиолетовая женщина с синими пятнами на лице обведена по контуру темно-синей дрожащей линией. Тревожные гангренозные тона подчеркивают неуют и болезнь. Картинка называется “Скарлатина”.

Мама тогда в шутку обижалась, что папа изобразил ее так неприглядно, но он настаивал, что это вовсе не портрет, а только образ болезни, хотя сходство было очевидным. Но заболела тогда вовсе не мама, а я. Температура была под сорок, лоб и щеки пылали, и я ощущал адский жар, который теперь кажется мне малиново-фиолетовым с противными темно-синими пятнами – типичный “грозовой уют”, если чуточку прищурить глаза.

Папа не учился рисованию, но образ болезни сумел передать весьма точно. Дважды в день он садился в байдарку, плыл через реку в соседнее село и привозил оттуда фельдшерницу. Она колола мне пенициллин, от которого остался в памяти только запах спирта на ватке. Попутно я узнал исто-

рию о чудесном обретении лекарства из плесени. Оказалось, что плесень – не что иное, как грибы, только не съедобные, а целебные. Антибиотики, как я понял из рассказа, спасли мир от болезней пострашнее скарлатины. До этого плесень я видел на бревнах в сарае, и она не внушала особого доверия, скорее пугала.

В наших августовских поездках хлеб и сыр часто плесневели, мама или бабушка аккуратно срезали пораженные участки, стараясь не отрезать лишнего. Заплесневелыми корками сыра кормили деревенских котов, хлебные обрезки доставались скоту, а из оставшегося делали сухари или подавали к столу, если другого хлеба взять было неоткуда.

Что уж говорить о рокфоре! Этот сыр, почитаемый в нашей семье, продавался тогда почти в каждом столичном гастрономе. Делали его в Старой Руссе на еще дореволюционном заводе-сыроварне, основанном, по преданию, одним из великих князей. Большие головы закатывали в красивую блестящую фольгу, но, даже украшенный таким способом, особым спросом у населения “испорченный” сыр не пользовался. Стоил рокфор дорого, его у нас подавали по воскресеньям, когда вся семья вместе с тетками Айзенштадт собиралась за большим столом. Рокфором, или килькой, или маринованным грибом, или редиской с кусочком масла, посоленной сверху, полагалось закусывать первую рюмку водки, настоянной на лимонной цедре, чтобы отбить мерзотный запах советского “сучка” за два восемьдесят семь. Мне, конечно,

водка не полагалась, но граненные рюмочки с желтым, резко пахнувшим напитком были запретно прекрасны. Я получал бутерброд – черный хлеб с маслом и рокфором, и сидящий рядом чокался с моим носом.

Скарлатина, возможно, мне бы и не запомнилась, если бы не картинка в папке. Это свойство моей памяти: я не помню номера телефонов и адреса, путаю имена и отчества, зато хорошо запоминаю образы. Вдруг, по смутной ассоциации, перед глазами встают дерево с обломанной веткой, облака над прудом или рекой, аллея, обрамленная большими старыми липами. Стоит только проявиться образу, как возникают цвета – дорога-аллея уходит прямо в разноцветный луг с пышными травами: изумрудный и оливково-зеленый, серый, чуть подкрашенный коричневым, блекло-белый и ярко-белый, лимонно-желтый, жаркий оранжевый, васильково-голубой, и надо всем – фиолетовые головки колючих репейников. Один образ тянет за собой другой, более конкретный, полный мелких деталей. Вот я различаю кружева резных наличников или ржавые потеки на давно не латанной городской крыше, вижу, как воочию, жестяную водосточную трубу, у которой не хватает двух звеньев между вторым и третьим этажами, разглядываю крапчатого, как леопард, пса на кожаном поводке, смотрю сквозь ряды темных елок, за которыми, как огромная буква “А”, вылезает опора линии электропередачи, или считаю пакетики с содой: выстроившиеся длинной чередой в “Бакалее” на Красноармейской,

они похожи на произведение поп-арта. Если сосредоточиться и отдаться грезе целиком, она длится довольно долго и обрастает всё новыми подробностями. Недавно, например, мне привиделся большой дуб под Касимовом. По коре была протоптана муравьиная тропа: муравьи шли вверх к кроне легко, как по ровной поверхности, один за другим, бесконечным живым ручейком, а другие, спускавшиеся вниз, иногда останавливались, чтобы передать сообщение собрату, и исполняли головными антеннами нечто вроде фехтовального упражнения. Но вот стихи, которые близкие знают наизусть, не держатся в моей памяти, я не запоминаю их, но стоит кому-то произнести вслух несколько строк, и я понимаю, что это стихотворение когда-то читал.

Итак, картинка в папке с папиными рисунками, щелчок – и я вижу, как издалека, от противоположного берега, отплывает наша низко посаженная широкобедрая байдарка. Я стою на берегу, укутанный в шарф, в вязаной шапке – встречаю фельдшерицу и папу. Видимо, это последние уколы, и меня выгуливают на свежем воздухе. Над рекой бегут облака с рваными подбрюшиями, вода в реке тяжелая, темно-серая, с разгулявшимися косыми волнами. Ветер дует мне в лицо, а значит, помогает папе – гонит лодку вперед. Он несет мелкие-мелкие, почти невидимые капельки. Время от времени я вытираю лицо рукавом, но не отвожу взгляда, мне нравится смотреть, как байдарка приближается, всё увеличиваясь в размерах, на ловкие взмахи папиного весла: справа-слева,

справа-слева. Он гребет изо всех сил. Я вижу нос лодки, обшитый толстой резиной, который то зарывается в волну, то подлетает вверх, приоткрывая темное днище. Вижу грузную фигуру фельдшерицы на переднем сиденьи в тяжелом брезентовом плаще, защищающем ее от летящих брызг. Женщина вцепилась в борта, а папа что-то рассказывает ей и смеется. К песчаному берегу прибились клочья грязной пены. Очень громко шуршит камыш, сгибаясь на ветру, кусты в воде ходят ходуном и дрожат в ознобе, как еще недавно дрожал я от высокой температуры.

Обратный путь папа проделывает в темноте под дождем. Он возвращается в избу насквозь промокшим, но почему-то веселым. Около пышущей жаром печки мама сдирает с него набухшую от воды клетчатую рубашку. Я лежу в своем углу возле окошка под ватным одеялом, мне тепло и уютно, и укол на попе уже совсем не болит.

Вскоре я выздоровел, и мы поехали в Москву. Вез нас на своей “Победе” Аркадий Анастасьев – дедов друг, которого попросили забрать нас из деревни. Машина была забита тюками, а на верхнем багажнике ехала упакованная в брезентовый чехол байдарка. После долгой отлучки город неузнаваемо изменился. Дома стремительно вырастали впереди, увеличивались в размерах, тянулись ввысь, как живые, – знакомые и незнакомые одновременно. Это было, как в сказке.

– Они растут, смотри! – закричал я.

Юрьевна, ехавшая со мной на заднем сиденье, отмахну-

лась.

– Ну тебя, Петька, прекрати фантазировать!

Я неотрывно смотрел в окно, а дома вырастали, как лес из волшебного гребня, брошенного через плечо убегающим от ведьмы героем. Те, что оставались сзади, уже замерли, достигнув исполинских размеров, а бегущие навстречу всё росли и росли.

На следующий день я проснулся в красной сыпи. Мама сказала, что это леопардовая болезнь, и мы с ней посмотрели леопарда в какой-то книжке. Потом поднялась температура, опять под сорок. Врач из поликлиники сказал, что это корь. От нее осталось в памяти пятнистое лицо в овальном зеркале и тело, обсыпанное красными, противно чешущимися прыщиками. А еще липкая постель, и жаркое одеяло, и окно, в которое смотришь-смотришь на лошадок, бегающих по кругу, и ждешь, когда кто-нибудь придет и расскажет сказку или почитает книжку. Но никто не приходит, а Вера пичкает меня опротивевшим бульоном и обещает пожаловаться, если я не буду есть. Я знаю, что не пожалуется. Она боится строгой Юрьевны, боится, что ей достанется, ведь это она меня плохо кормила. Чтобы подлизаться, я говорю: “Отведешь меня к бабушке с борщом?”

– Съешь бульон, выздоровеешь, отведу, – торгуясь, заявляет Вера.

Что поделать, я вздыхаю, доедаю бульон и бреду в свою комнату. Забираюсь с коленями на стул у окна, кладу голову

на ладони и снова смотрю на лошадок. Похоже, им никогда не надоедает бегать по кругу.

К бабушке с борщом мы ходили много раз, и это была наша с Верой тайна. Почему-то она не хотела, чтобы бабка узнала, что вместо прогулки мы отправляемся туда. Выходим из дома, огибаем кинотеатр “Темп”, переходим улицу Поликарпова и заходим в мои любимые дворы. Дома здесь низенькие, вытянутые, на два-три подъезда, они стоят каре, закрывая внутренние дворики с песочницами и качелями от шумной Беговой с ее грохочущими трамваями. Асфальтированная дорожка ведет в глубь этого городка в городе, мимо четырехэтажной школы, в которой я буду учиться, когда подрасту, мимо железных гаражей к кругу с огромной клумбой. Вокруг клумбы стоят шесть двухэтажных домов, серых, с высокими дверями, ведущими в темные и глубокие подъезды. Дома называются “немецкими”. В школе я узнаю, что весь этот мини-квартал строили пленные немцы, как, впрочем, и другие подобные городки-кварталы, еще сохранившиеся кое-где в нашем районе.

Здесь, в одном из домов, жил писатель Гроссман, внучка которого училась со мной – в параллельном классе “Б”, но ничего этого во время наших с Верой прогулок я знать не мог. Мы огибали клумбу и шли по косо́й тропинке к длинному дому с малюсенькой пристройкой в одно окошко, словно приклеенной к основному зданию. Три ступеньки вели

к обитой дерматином двери. Ручка на двери тяжелая, прибитая чуть вкось, дерматин за ней протерт до грязной фанеры, из дыры торчат клоки ваты. Если большая накидная петля открыта, значит бабушка в своем домике и поджидает нас. Вера трижды стучит в дверь, голос изнутри приглашает. “Входьтэ” – бабушка говорит с певучим украинским акцентом.

В домике очень мало места: топчан в углу, стул, прямоугольный фанерный столик в изголовье. На столе роскошная электрическая плитка – два кирпича с фигурными желобами внутри, по которым протянута алая спираль. Кирпичи скреплены жестяной окантовкой и лежат на толстой, вырезанной под размер мраморной плите. Эту плитку я рассматривал каждый раз, горячая спираль притягивала меня, как мотылька. В домике очень жарко, жар расходуется от плитки – единственного источника тепла. Ботинки тут снимать не принято: “По нохам дуэ”. Бабушка ходит в растоптанных валенках с галошами. “Никак нэ привыкну к тутошней походэ, – улыбаясь, жалуется она Вере. – Чого тэбе, борща налити?” Всегда она задавала этот вопрос и всегда жаловалась на погоду. В первый раз я побоялся отказаться, зная, что если тебе предлагают еду, надо есть, чтобы не обидеть хозяина. Так меня научил дед еще в деревне. Бабушка открыла дверцу шкафчика под столом и извлекла оттуда большую сильно закопченную алюминиевую кастрюлю. Сняла с полки на стене вместительную зеленую эмалированную миску,

протерла ее полотенцем и огромным половником принялась накладывать туда фиолетовое варено – тонко нашинкованную капусту вперемешку с нарезанной свеклой, крупные розовые столбики картошки и большие куски темного мяса с белыми костями. Навалив всё это с горкой, поставила миску прямо на плитку. Борщ быстро закипел, миска перекечевала на стол, на деревянную, выдавшую виды подставку, а на плитку взгромоздился зеленый же эмалированный чайник с носиком, похожим на слоновий хобот. Нам с Верой было выдано по алюминиевой ложке. Бабушка достала круглую буханку черного, прижала ее к своему ватнику (в другой одежде я ее никогда не видал) и сильно сточенным ножом отрезала огромную горбушку. Поделив ее прямо на столе пополам, смахнула крошки в ладонь и отправила их в рот. “Кушайте наздоровычко”, – сказала она и присела у входа на низенькую табуретку.

Мы с Верой пристроились у стола: я на топчане, она – на единственном стуле. Вера принялась за еду, а я всё дул на ложку, суп оказался обжигающе горячим. Есть из одной миски мне еще не доводилось и казалось привлекательным. Я знал, что так принято в деревнях. Борщ оказался очень вкусным и очень сладким, даже свекла и капуста в нем были совсем не такие противные, как в маминых щах. А посоленная крупной солью горбушка размером в два моих кулака – просто замечательной, от такой бы и Сютина лошадь не отказалась!

Всё здесь было не как у нас, на Беговой, – и хлеб, и суп из огромной кастрюли, и сказочный домик, с трудом вместивший нас троих, и полки с банками и старыми жестянками от чая и монпансье, в каждой – крупы, сушеные травки, семена, болтики, гвозди и гвоздочки, блестящие новые и покрытые черной патиной выпрямленные старые. И бидон с водой, в который залезают специальным жестяным ковшиком на длинной рукоятке с крючком на конце, и телевизор КВН – гордость бабушки, маленький деревянный ящик с огромной линзой, прикрепленной к экрану, и черной ручкой-тумблером для переключения программ. Дома у нас телевизора не было и заводить его не собирались, сколько я ни просил. Считалось, что если будет телевизор, я не стану читать книги. Книги зато были везде, а тут, у бабушки, ни одной, только журнал, а на нем толстые очки с резинкой вместо дужек, зато – телевизор! Мне его включают, и мир вокруг перестает существовать.

Дождаясь кино или мультиков, я мог смотреть и слушать любую передачу, хоть вести с полей, хоть репортаж с завода, хоть лекцию о международном положении, хоть оперу. Вера поворачивалась к бабушке, та доставала откуда-то белый, очень чистый холщовый мешочек с семечками, ставила в ноги “поганое” ведро, и они принимались ловко лузгать семечки, сплевывая в него шелуху и ведя какую-то бесконечную беседу. Обе были из одного села, и это бабушка вытащила Веру на заработки в Москву.

Говорили они меж собой на суржике – помеси украинского и русского. Постоянно мелькали имена и фамилии – Тарасенки, Панасенки. Помню, как Вера кипятилась, защищая какую-то Оксанку, которую бабушка обвиняла в сглазе поросенка. “Глаз у ее черный”. – “Да нет же – карий, я с ней в школе за одной партой сидела!” – настаивала Вера. “Карий, да дурной, не спорь”, – глядя куда-то в сторону, заявляла бабушка и сплевывала в ведро шелуху. Так они могли беседовать долго и при этом никогда не ссорились, просто каждая упрямо стояла на своем. Когда же я спросил, какое отношение имеет цвет Оксанкиных глаз к поросенку, бабушка посмотрела на меня с прищуром и вздохнула: “Смотри свои мультики, деточка, у тебе-то глаз хитрющий да веселый”. Хитрющий глаз был у нее самой и горел как уголек, а второй она и вовсе закрыла. Я понял, что она всё равно ничего мне не расскажет, но не обиделся, обижаться на нее почему-то совсем не хотелось. Так мы проводили время, я – общаясь с телевизором, они – друг с другом.

Юрьевна строго-настрого запретила Вере грызть семечки у нас дома. Вера подчинилась, но на прогулках во дворе, сойдясь с няней из первого подъезда, доставала их из кармана и, поделив с подругой, давала немножко и мне – так она покупала мое молчание.

Как-то я услышал, что Вера жалуется на Юрьевну: “То ей не так, это не эдак”. – “Барынька. Слухай ее, а делай по-своему, – посоветовала бабушка и, весело глянув на меня, спро-

сила: – Борща-то ще нагреть?” Я поблагодарил и уставился в телевизор, словно ничего не слышал.

Бабушка с борщом была, конечно, ведьма. Маленькая, сторбленная, всё лицо в морщинах. Она носила старый ватник, лоснящийся на локтях, и розовый некогда платок, из-под которого торчали седые космы. Скрюченными пальцами, похожими на птичьи когти, бабушка заталкивала космы под платок, но вскоре они опять вылезали, и всё повторялось по новой. В ее маленьком домике, похожем на домик в лесу, куда забрели Ганс и Гретель, всегда пахло варевом. Стол без скатерти. Острый сточенный нож с подгоревшей рукояткой. Огромный амбарный замок на двери, когда, случилось, мы приходили, а ее не было дома. И ведьминский голос, хрипловатый, истертый от времени, как тот самый нож, слишком сладкий, слишком дружелюбный, будто увлекающий тебя куда-то – в совсем нехорошее место. Но телевизор и вкуснейший борщ, всегда стоявший в кастрюле под столом, и то, как по-своему ее любила Вера, прогнали мои подозрения. Вслед за Верой и я тянулся в эту жаркую до духоты комнатку, с незнакомыми словами диктора и украинской речью, тоже не до конца понятной, но певучей, полной застарелых обид и бесконечных жалоб. Обглоданные кости на кусочке газеты, миска с остатками борща, краюха черного хлеба, стаканы в подстаканниках с чаем и липовым медом, банки и баночки с лесными травами, бидон, плитка с алым огоньком – всё здесь было необычно, вкусно и интересно. Как и полагается

ведьме, у нее даже была черная кошка, стройная и ловкая. Стоило открыть дверь, как она стрелой вылетала на улицу и при нас в домик не возвращалась.

– Боятся вас, а мы с ей вдвоем – душа в душу.

Что это значит, я не понял, шел домой и повторял про себя “душа-в-душу, душавдушу, ду-ша в ду-шу”, в зависимости от того, как перешагивал через трещины на асфальте – быстро или аккуратно, словно шел по хрусткому льду дворовой лужи.

“Делай всё по-своему” – этот совет мне понравился. В маленьком домике всё разрешалось, и тут я никому не мешал. Старая добрая ведьма, провожая меня, всегда давала на прощанье пряник или конфетку и просила навещать почаще. Нет, бабушку с борщом я нисколечко не боялся.

Вера так всё и делала – по-своему. Бывало, они шепотом, чтобы я не услышал, переругивались на кухне с Юрьевой. Иногда Вера обижалась и хлопала дверьми, тогда в дело вступал дед, шел за ней, и вскоре Вера возвращалась на кухню с красными глазами, но заметно повеселевшая.

Меня она по-своему любила, рассказывала, как качала люльку, нянча крикливую соседскую девочку у себя в селе, но толком про ее родных, да и про само село, я ничего не узнал. Она никогда меня не шлепала, но, если взрослых не было дома, могла на меня прикрикнуть, а будучи в хорошем расположении духа, и жестоко подшутить. Одну из таких шуток я запомнил на всю жизнь. Вера сидит на кровати

в моей комнате, я играю на полу. Она что-то пришивает, наверное пуговицу, к моей рубашке. Вдруг, поднатужившись, она пускает газы с громким характерным звуком и тут же со смешком подзывает меня. Я подхожу, не подозревая подвоха, смотрю ей прямо в глаза. Вера машет руками, разгоняя смрад, и говорит с ехидцей: “Ой, Петька, как ты тут нафунял!”

Меня словно бьет током, ужасно обидно. Вдобавок в комнате отвратительно пахнет.

– Это ты! – кричу я в сердцах, срываюсь и бегу вон из комнаты.

– Да ладно! – жеманно произносит Вера. – Сам нафунял, а на меня сваливаешь.

Я убегаю в ванную, слезы текут из глаз. Понимаю: мне не доказать, что это не я. Сажу на краю ванны в темноте и начинаю раскачиваться. Вот сейчас упаду назад, разобью голову, и Вере крепко достанется. Раскачиваюсь и раскачиваюсь, но падать назад страшно. Я перестаю качаться, просто сажу, не хочу к ней выходить. Сажу долго, мне уже надоело, но я всё сажу. Наконец дверь открывается, на пороге стоит Вера.

– Вот ты где спрятался. Пойдем, я компот сварила.

Так она просит прощения. Самого прощения от нее не добьешься.

Вечером она укладывает меня спать, нежно целует в лоб, гладит по голове и напевает какую-то песенку. Мама с папой и дед с бабкой куда-то ушли, сегодня со мной осталась только

8

Своей деревенской жизни Вера стеснялась. Няней, живущей в семье до смерти, этакой добровольной крепостной, каких я в Москве еще знавал, она, слава богу, не стала.

Вера мечтала выйти в Москве замуж и остаться тут навсегда. Так и вышло, она нашла молодого инженера, сменила одну птичью фамилию на другую, став из Дроздовой Соколовой, и родила двоих сыновей. Муж ее строил плотины или электростанции в братских странах, кажется где-то в Африке, и прилично зарабатывал. На чеки они купили “Волгу” – мечту советского человека. На “Волге” они однажды приезжали навестить няню из первого подъезда, с которой Вера крепко подружилась, через нее и передала нам приветы, но зайти в гости или не захотела, или постеснялась. Уверен, время, проведенное бок о бок с бабкой, она вспоминала без особой радости, характер у Юрьевны был генеральский и взбалмошный. Вера от нее наверняка страдала, как и сама бабка, в глубине души стеснявшаяся чужих людей в доме. Юрьевна предпочитала жить в своем мирке.



Во дворе. Март 1961

Позднее до нас дошла страшная весть – муж Веры разбился насмерть на своей “Волге”. Что стало с Верой и ее сыновьями, я не знаю и, видимо, не узнаю уже никогда.

Вера ушла от нас незадолго до того, как я пошел в школу. Точнее, она уходила дважды. После первого ее ухода меня отдали в детский сад. В сад в нашем дворе почему-то устроиться не удалось, и меня возили на автобусе к Белорусскому вокзалу. Автобус останавливался на конечной, прямо перед вокзалом, высаживал пассажиров и, постояв немного, проезжал чуть вперед, чтобы забрать желающих ехать на Сили-

катный завод – так было написано на табличке, выставленной в окне у задней двери. Что такое Силикатный завод, где он находился и находится ли до сих пор, я не знаю, но название врезалось в память и звучит как что-то очень знакомое и родное.

Мы выходили из автобуса и шли в обратную сторону, к железной сетке, отделявшей садик от Ленинградского шоссе. За ней была клетка, в которой выгуливали детей. Помню стенные шкафы в большой комнате, откуда доставали раскладушки и постельное белье для дневного сна, и горшки, на которые обязательно надо было садиться, проснувшись, – каждому около своей кровати. Не забыть и отвратительную комковатую манную кашу – ее надо было съесть, несмотря на то что полчаса назад я уже позавтракал дома. Съесть полагалось всю порцию, а потом еще показать воспитательнице чистую тарелку. Та же процедура повторялась и в обед.

О, как прав был дед, когда поутру, намазывая маслом кусок белого хлеба, смотрел в мою тарелку с манной кашей и, улыбаясь одними глазами, декламировал стишок собственного сочинения: “Ваши каши очень гадки, даже если каши сладки. Мы ж, гурманы, очень падки на филе из куропатки”. Странно, но после этого каша становилась вкуснее. Но в саду деда не было, были только незнакомые дети и тетки с равнодушными глазами и огромными лапищами, такими распухшими и красными, словно они всю ночь стирали белье в тазу. Этими лапами они хватали нас, вытаскивали из кроватей и

усаживали на горшок или громко хлопали, заставляя скакать поочередно то на правой, то на левой ноге, “как зайки”. Это называлось “сделать упражнение”. Тех, кто не хотел, выводили из строя и ставили лицом к шеренге – “зайка” переминался с ноги на ногу, стыдливо глядел в пол и начинал прыгать под резкие хлопки стоявшей за спиной воспитательницы.

Выходить гулять полагалось только строем, разбившись на пары. В саду я так ни с кем и не успел подружиться. В ожидании мамы я два дня простоял у сетки, провожая глазами проезжавшие машины, автобусы и троллейбусы и глотая горькие слезы, а потом сбежал. Это оказалось проще простого.

Воспитательницы садились на скамеечку под центральным грибком и руководили прогулкой оттуда, подзывая не поделивших совок или ведерко, подравшихся или испачкавших колготки и отчитывая их противными голосами. О, я это запомнил отлично. За два дня меня дважды ставили в угол, и оба раза за то, что я отказывался скакать зайцем. На прогулке в первый день я стоял и выглядывал маму в уличной толпе, чтобы пожаловаться на воспитательниц. Но выслушав мои сетования, мама только покачала головой и сказала, что я привыкну.

А на второй день я заметил в сетке дыру, внизу, у самой земли, и, когда тетки отвернулись, пролез в нее и спокойно пошел по улице. Сел в автобус, доехал до нашей остановки,

она была пятой по счету, пришел домой, поднялся на лифте на десятый этаж и принялся колотить в дверь, дотянуться до звонка я еще не мог. К счастью, дед оказался дома. Увидев меня, он сразу всё понял, раздел, напоил чаем с вареньем и смеялся, слушая рассказ о моем побеге. Но прежде всего позвонил маме на работу и всё ей рассказал. Мама перезвонила в детский сад и сказала, что мы больше не придем. Всё было решено в один миг, похоже, я здорово напугал своих родных. За побег меня не ругали и, главное, не обсуждали его за столом – удрал и удрал. Сегодня я абсолютно уверен, что тактиком тогда выступил дед. Он меня всегда хорошо понимал.

Поэтому-то снова и появилась Вера, но ненадолго, только до лета перед школой. Как взрослые справлялись, когда я пошел в школу, не помню, но, кажется, меня провожали и встречали по очереди. К слову, младший брат (у нас с ним восемь лет разницы) познал все прелести советского дошкольного воспитания. Он ходил в ясли, в детский сад, оставался в школе на продленку. Но тогда мы уже переехали на Красноармейскую и зажили своей семьей. Там и сейчас живет мама, одна в большой трехкомнатной квартире. Главное в квартире – книги, полки с ними закрывают почти все стены, а у окон стоят письменные столы. В маминой комнате еще есть большой обеденный, за которым изредка собирается наша семья, точнее, то, что от нее осталось. В нише у стола стоит диванчик красного дерева, перевезенный с Бе-

говой, и посудный шкаф-монашка, выдавший еще Гоголя, – оставшийся от моей прабабки, он заботливо восстановлен и отреставрирован Юрьевой.

За год до школы я уже умел читать и перед сном канючил “еще чуть-чутьочку” или “мне только дочитать”. Это срабатывало лишь раз, по второму заходу книжку отбирали со словами: “Она никуда не убежит”. Мама была строга и непреклонна, а вот дед, забирая книгу, всегда шутил. Я, например, принимался его уговаривать: “А если ты уйдешь в свою комнату и как будто забудешь”, на что тут же следовал ответ: “Ах, если бы минога была б она двунога, была б тогда минога миногой лишь немного”. Мне нравились его присказки, шуточные стишки, он знал их очень много. Я понимал – книгу так или иначе придется отдать, но теперь, засыпая, я бормотал стишок про миногу и представлял, какой бы она стала, если бы у нее выросли две ноги, и забывал про книжку.

Читал я всё, что мне подсовывали: сказки народов мира и сказки Пушкина, “Почемучку” Бориса Житкова, “Доктора Айболита” Чуковского, “Дама сдавала в багаж” Маршака, “Маугли”, “Винни Пуха”, “Приключения барона Мюнхгаузена” в пересказе для детей, “Сказки дядюшки Римуса” (где братец Черепеха, опускаясь на дно пруда, сказал “думеркер-кумеркер”, а братец Кролик молил братца Лиса не бросать его в терновый куст и, будучи брошен, закричал: “Терновый куст – мой дом родной!”), то есть весь стандартный набор советского ребенка.

В изголовье моей кровати стояла полка, набитая книгами. С раннего детства я не помню на полках пустых мест, их просто не было. Мне непонятно, куда девались новые книги. Сейчас, положим, я отдаю книги в библиотеки или увожу на дачу. А тогда я видел только, как взрослые приносили книги домой. Кажется, приходя с работы, они каждый раз выкладывали из портфелей и сумок книги, книги и снова книги. Правда, время от времени, например в коридоре, появлялись новые полки, сужая и без того узкое пространство. В дедовом кабинете они однажды загнулись буквой “Г”, сцепившись намертво крюками из толстой проволоки, и отгородили закуток, где он спал. Теперь там сплю я, так что эту закорючку не разогнуть и по сей день.

Над моей кроватью стоял Бальзак – шеренга томов в красных переплетах. Я никак не мог взять в толк, зачем их так много, если все жалуются, что ставить книги некуда, и предложил оставить только одного. Тогда мне объяснили, что такое собрание сочинений, и я тут же нашел и другие: Толстого и Достоевского, любимого дедом Лескова, Куприна и Чехова, Томаса Манна, а еще “Очерки по истории и теории советского искусствознания” и зеленые пухлые тома “Истории русского искусства”, за ненадобностью перекочевавшие в книжный шкаф дома под Калязином.

Много позже я узнал, что собрание сочинений Бальзака – едва ли не единственное, что уцелело от папиной первой библиотеки. Он покупал книги, экономя деньги, выдаваемые

на школьные обеды. Папа собирал библиотеку, а его старший брат, дядя Юз, их тырил из дома и продавал букинистам, а после кутил на вырученные деньги с уличной шпаной, с которой он тогда водился. Дядя в молодости был *enfant terrible*: он стащил и продал бабушкину пишущую машинку и вообще творил невесть что. Недаром спустя много лет после смерти папы, зайдя со мной на Красноармейскую и сняв с полки старую Библию, Юз сказал: “Моя. Пусть здесь стоит, я у братца много книг потаскал”. Поставил книгу на полку и деланно рассмеялся, скрывая за смехом позднее раскаяние. Бальзак и теперь стоит на Красноармейской, занимая больше половины полки, но не помню, чтобы кто-то его открывал. Я его так и не осилил.

Самая загадочная книга стояла прямо у меня над головой. Засыпая, я всегда читал название, хотя знал его наизусть, и иногда даже нашептывал: “хаволс о оволс” – словосочетание, похожее на заклинания из арабских сказок. Чего только я не нафантазировал про эту книгу, пока по проществу, наверное, года, а может, и двух не потрудился достать ее с полки. Это оказалось “Слово о словах”, читаемое наоборот. Я полистал его, понял, что написанное там – для взрослых, и затолкал назад. И всё равно шептал перед сном “хаволс о оволс” – мою волшебную мантру.

Кроме книг, помню бесконечные игры и слоняния из комнаты в комнату. Я умудрился так всем надоесть, что мой гениальный дед придумал корабль. Маленький, но крепкий

журнальный столик, живущий со мной и сегодня, переворачивался вверх ногами. К одной из ножек привязывалась швабра, к другой – черенок от лопаты. Между ножками навешивалось ограждение из веревок, чтобы не упасть за борт при сильной волне. Внутри помещалась табуретка, а то и две, к ним приделывались мачты с флагами и парусами из полотенец. Между передними ножками, на носу, прикреплялся штурвал – крышка большой кастрюли. На корабле были фонарик, моток веревки, спасательный круг – хула-хуп, якорь, молоток с гвоздями (на всякий случай) и еще много всего полезного, что иногда улетало за борт при качке, но потом отыскивалось в разных концах комнаты и возвращалось на свои места. Корабль развлекал меня всю зиму перед школой. В нем были подушки и плед-палатка, тот самый, уже поминавшийся, зеленый в черную клетку. Случалось, я засыпал на нижней палубе, уютно устроившись под табуретками. Когда я слишком громко кричал, отдавая команды, чья-то рука закрывала дверь, но я не обращал на это внимания, комната была моим морем, где взрослым не было места. Когда играть в одиночку надоедало, я приставал к деду. Он приходил, и мы придумывали что-то новое в конструкции корабля – он был то пиратским бригом, то подводной лодкой, то эсминцем, то ледоколом, спасавшим с дрейфующей льдины папанинцев, о которых дед же мне и рассказал. Но чаще всё-таки он был парусником – читать про пиратов и играть в них я любил больше всего. Признаюсь, страсть эта осталась у ме-

ня до сих пор. Замечательную азиатскую сагу Клавелла, начиная с “Сёгуна” и “Тай-Пэна”, я перечитываю регулярно во время долгих простуд, гриппа или затяжных депрессий. Она пришла на смену выученным наизусть “Трем мушкетерам” Дюма – наверное, самой читаемой в Советском Союзе книге.

Корабль в конце концов мне надоел, но разбирать его взрослым не позволялось еще долго, пока наконец, вернувшись со двора, я не обнаружил почти забытый стол, нагруженный папиными книгами, трогать которые строго-настрого запрещалось. “Корабль пошел ко дну”, – сказал папа, и мне пришлось с этим смириться.

Из дошкольных игр во дворе особо запомнились “секретки”. Обычно нас отправляли гулять по утрам и после обеда. Асфальтовые дорожки были расчерчены классиками, девчонки скакали по квадратам, но мы, мальчики, эту ерунду игнорировали. Как и скакалки. В штандер и вышибалы мы с девчонками вместе играли до одурения. Еще мы играли в солдатики – рыли ходы сообщения, строили оборону, упорно подготавливали плацдарм для битвы. Затем – трамба-бах! – летели куски мокрой грязи, солдатики падали навзничь, а проигравшая сторона с криками бросалась на окопы противника и жестоко месила их ногами. Чаще всего победившие присоединялись к побежденным. Поле боя, на которое было потрачено столько сил, уничтожалось за несколько минут, после чего каждый собирал своих воинов, ставил их на бордюрный камень для просушки, а сам садился рядом, как купец в лавке, нахваливая свой товар. Наступало время менки. За понравившегося солдатика, например пограничника с собакой, можно было выменять двух-трех рядовых. Я не умел торговаться, чем пользовались более хитрые и умелые менялы. Мне обычно доставались солдатики с облетевшей краской, в основном рядовые. Зато у меня был американский солдат с гранатой в правой руке. Левую он где-то потерял, но этот однорукий ветеран был настоящим героем

и всегда стоял на бруствере в первом ряду. Чего только мне за него не предлагали, даже двух пулеметчиков и одного рыцаря, но было ясно: отдай я его, и войско мое лишится предводителя, а я – своего неповторимого солдатика. Безрукого я променял уже позже, на даче, и это была обидная история, о которой и рассказывать-то не хочется.

Наигравшись в менку и рассовав по карманам обновленное войско, мы начинали ходить по двору и приставать к девочкам. Тут-то Милка из второго подъезда и отвела меня в сторону и поделилась тайной. Мы незаметно пробрались к одиноко стоявшему большому дереву, росшему в самом неприметном месте двора, Милка опустила на корточки и сперва палочкой, а потом и ладошками расчистила невероятную красоту. Под осколком оконного стекла лежали: фантик от конфеты “Маска”, стеклянная голубая бусина, красный камешек и что-то еще, уже и не припомню что. Сверкающая подложка из фольги усиливала эффект от зарытых в тайник драгоценностей.

– Это мой секретик, – гордо заявила Милка. – У Каринки и Наташки тоже есть, но я не знаю где. Будешь делать свой?

Конечно, я помчался домой, стащил, как помню, пуговицы, кусок фольги и остатки новогоднего дождя (это я, я придумал дождь в “секретиках”!) и был пойман бабкой, когда начал рыться в горстке иностранных монет, лежавших в коробочке в дедовом столе. Еще я хотел утащить медаль с Юрием Долгоруким, но бабка не разрешила, зато выдала

мне разноцветную бумагу для аппликаций, а я еще выпросил у нее блестящий медный крючок. На помойке нашелся подходящий кусок стекла. Было уже часов семь, ребят во дворе почти не осталось, так что свой “секретик” мне удалось незаметно зарыть под большим тополем около деревянного сарая, в котором, как говорили, одну ночь ночевал убийца Ионесян по кличке Мосгаз, терроризировавший тогда всю Москву. Я очень старался: нити дождя переливались в темноте, крючок, обложенный разноцветными пуговицами и кусочками бумаги, таинственно блестел, а две болгарские монетки по двадцать стотинок (умудрился-таки стащить) придавали “секретику” вид пиратского клада. Перед сном я ворочался и предвкушал, как покажу его Милке, а завтра поджидал ее во дворе и весь извелся, пока она не вышла.

“Секретик” Милка оценила. Мы тут же продемонстрировали его Каринке и Наташке, а те в ответ показали нам свои. На следующий день двор поразила эпидемия – все разбредались по углам и закапывали сокровища, чтобы потом, подойдя к приятелю, прошептать таинственно: “Айда, посмотрим”. Взрослые тоже включились в игру и принялись разыскивать в домашнем барахле блестящее и замысловатое. Мы сновали по двору подобно сорокам, высматривая всё, что могло пойти в дело: медную заклепку, донышко от бутылки из-под шампанского, моток алюминиевой проволоки. Особо ценились матросские “ушки” – блестящие пуговицы с якорем, за одну такую давали три солдатские со звездой, звез-

дочки и эмблемы от погон и петлиц. Высшим шиком были монетки и “ушки”, расплющенные на трамвайных рельсах, – тонюсенькие медальки, похожие на старые монеты. Важно было подложить их под трамвай и не попасться на глаза взрослым. Поймай они нас за этим делом, влетело бы изрядно. Менки теперь стали куда круче: меняли кусочек свинца на окатанный голыш, привезенный с Черного моря, брошку с цветными стеклышками на бронзовую накладку от замка старинного шкафа, старый часовой механизм с шестеренками на граненую “под хрусталь” пробку с отбитой верхушкой, ценные стеклышки из разобранного калейдоскопа на не менее ценную жестяную розу. Елочные украшения, тайно добытые с антресолей, перекочевывали под землю, а осколков стекла во дворе скоро стало не найти. Потом начались кражи. Кто-то принялся целенаправленно разорять “секретики”, крал и затапывал подстекольные клады. Мы терялись в догадках, прятались, долго поджидая вора, но так и не нашли его. Наверное, к счастью, ведь он явно жил среди нас. Подозрительность и недоверие ненадолго сплотили нас с девчонками, но вскоре нам надоело сидеть в засадах, да и сами “секретики” вдруг всем прискучили. Эпидемия закончилась так же неожиданно, как и началась. Никто толком не поспорился, тайна грабителя осталась неразгаданной. Знаю только, что некоторые, и я в том числе, перепрятали свои “секретики” и уже не показывали их никому. Вряд ли они сохранились, двор с тех пор много раз перекапывали, зака-

тали в асфальт дорожки и соорудили огромную клумбу, которой в мои детские годы там не было.

Папина мама Вера Абрамовна, или просто Абрамовна, моя вторая бабушка, жила в огромном довоенном доме на Ленинском проспекте, “на Калужской”, как она говорила. Там, в большой коммунальной квартире, у нее была двадцатиметровая комната. Комната казалось мне пустой: стол, подзеркальник, гардероб и кровать жались по углам, а так как у Абрамовны не было ни книг, ни игрушек, я терялся и не знал, чем себя занять. На стене висела фотография деда Ефима, умершего за два года до моего рождения. Легкая улыбка, во рту – трубка, как у Вождя народов, которому он верно служил. Дед Ефим прошел все войны советской страны. В гражданскую скакал по казахским степям, от тех времен сохранился расплывчатый групповой снимок красноармейцев, картинно расположившихся вокруг телеги. От белофинской осталась фуражка-амулет, простреленная навыворот снайпером-кукушкой. Папа рассказывал, что она долго висела на стене, но я ее уже не застал. Отечественную дед закончил в Маньчжурии, проехав туда через полмира из завоеванной Германии в вагоне-теплушке. Из Маньчжурии он вернулся, отбив жене краткую телеграмму: “Приезжаю такого-то, встречайте Белорусском. Ефим”.

Папа вспоминал, как они спешили на вокзал, как стояли на перроне, провожая глазами катящиеся вагоны и выиски-

вая отца. Наконец он появился, странно мрачный, со сжатыми губами, напряженный, в чистой военной форме с большой звездой на погонах. Он стоял в дверях вагона, положив руки на два высоченных мешка. Ни улыбки, ни приветственного слова. Наконец по вагонам пробежала дрожь, и состав, лязгнув буферами, встал. Дед сперва подал тяжелые мешки, затем спустился к онемевшим от счастья жене и сыновьям, вдруг раскрыл объятия и оскалил зубы, заливаясь смехом: “Вот он я!” Зубы все до одного были золотыми и сияли, как начищенная солдатская пряжка. Сюрприз удался. Вера Абрамовна запричитала, дети повисли на полузабытом отце. “Рис, рис не просыпьте”, – командовал отвоевавший майор, придерживая драгоценные мешки. По опыту предыдущих войн он был убежден, что в Москве голод, и привез из Китая рис.



Ефим Иосифович Алешковский. После войны



Ефим Алешковский с красными товарищами устанавливает советскую власть где-то в степях

Голода в Москве уже не было, рис раздавали всем подряд, пока последние его остатки не сожрали долгоносики, приехавшие в мешках из Маньчжурии. Золотые зубы и рис были платой за спасение еврейской семьи дантистов в Харбине. Что там случилось, история умалчивает, но золотые зубы через два месяца окислились и почернели, оказавшись простыми медными фиксами. Их, вместе с зубами, без сожаления выдрали в московской клинике, заменив вставными челюстями на присосках.

Потом семья переехала в Литву. Тут дед не выдержал и сказал, что больше носить сапоги не в силах – он не снимал их долгие тридцать лет. Офицеры-однополчане уговаривали дождаться второй звезды и уйти полковником с соответствующей званию пенсией, но дед был непреклонен. Семья собрала манатки и отбыла в Москву. Через несколько дней почти весь гарнизон был вырезан лесными братьями. Дед, хохим (“дурачок”, “простофиля” на идиш), имел мощного ангела-хранителя и, как и в случае с промазавшим снайпером-кукушкой, выжил только по счастливой случайности. До самой смерти он работал директором “Кишсырья”, небольшого заводика, заготавливавшего кишки для производства колбас, и тихо попивал водку. Всё это я узнал много-много позже от дяди Юза. Отец никогда об их послево-

енной жизни не рассказывал, то ли стесняясь, то ли просто не считая нужным. Всё детство я сочинял истории про деда Ефима, наградами которого всегда играл, приезжая к бабушке на Калужскую. Среди них был орден Боевого Красного Знамени, кажется, за гражданскую, и большое количество медалей, хранившихся в жестяной коробке из-под китайского чая. Сама Абрамовна проработала всю жизнь в глазной больнице бухгалтером. Она поступила на мехмат МГУ, но не проучилась там и года: родив первенца, ушла из университета и пошла зарабатывать деньги.

Калужская была скучным местом, поездки туда я не любил. Помню только поход с Абрамовной в магазин. Всюду лежала кукуруза, обильно насаждаемая Хрущёвым по всей стране, но нужных бабушке продуктов в магазине не оказалось. Несколько початков Абрамовна сварила в глубокой кастрюле, и я съел их все, блестящие от сливочного масла и посыпанные крупной солью, благодаря про себя незнакомого дядю Хрущёва, который привез в гастроном такую вкуснятину.

С Калужской всё было ясно, другое дело – Мамонтовка. Туда, на бабушкину дачу, меня однажды отвезли на целый летний месяц, и там добрейшая Абрамовна разрешала мне делать всё что угодно. Варений и компотов у нее было наготовлено на полк солдат, на грядках было полно клубники. Я ползал по грядкам и ел ягоды прямо с куста, Юрьевна мне такого восхитительного свинства никогда бы не позволила.

В огороде росло большое дерево с дуплом, в котором поселился удод – странная птица с хохолком. Удод ко мне привык и не улетал – сидел на ветке и приглядывал за мной, пока я обедался клубникой.

Мы жили в половине дома, принадлежавшей Абрамовне, а в дальнем углу участка, в маленьком летнем домике, работал дядя Юз. Он приезжал на грузовой машине, оборудованной телескопической ногой и люлькой-стаканом для ремонта проводов на электрических столбах. Юз сидел в темной комнатенке за столом и что-то писал перьевой ручкой с черными чернилами. Это было мне привычно, все мужчины вокруг работали за столом. Видимо, я ему надоедал, и, чтобы отделаться от назойливого племянника, он нарисовал вокруг моих сосков на груди две пятиконечные звезды. Я ими гордился, пока не приехала мама и не подняла шум. Почему-то оказалось, что это позор, о чем я не догадывался, щеголяя звездами целых два дня и категорически отказываясь их смывать. Дяде, впрочем, не досталось, он своевременно укатил на своем грузовичке. Удар приняла Абрамовна, она долго извинялась перед мамой, потом они обнялись, и меня повели в летний душ оттирать звезды пемзой.

Дача в Мамонтовке казалась мне огромной. Дед как офицер-ветеран получил землю, построил на ней дом, но вдруг решил продать половину своему бывшему начальнику, который долго его упрашивал. Ефим хотел сделать жене сюрприз – купить ей меховую шубу. На сделку он взял с собой папу,

вероятно, как свидетеля. Был открыт большой, окованный железом сундук. “Столько денег я не видел больше никогда в жизни”, – рассказывал мне папа. Начальник отсчитал нужную сумму и вступил в законное владение половиной земли и половиной дома, тут же построив между участками забор. Несколько дней дед Ефим выбирал шубу, но купить ее не успел: грянула денежная реформа, и деньги полностью обесценились. Папа сказал, что Абрамовна и дед пережили финансовый крах стойчески и никогда об этом случае не вспоминали. Бабушка, насколько я помню, дружила с вдовой начальника, заходила к ней в гости, а если шла за хлебом, всегда покупала батон и половину черного на ее долю. Когда лет двадцать назад мне случилось оказаться в Мамонтовке, я подошел к нашему бывшему участку: он сжался до таких крошечных размеров, что заходить внутрь мне расхотелось.

Семейную байку про шубу я узнал много позже, а тогда ходил с мамой и папой купаться на очень холодную Клязьму, через поле, поросшее васильками и ромашками, обедался вареньем, блинчиками и всякими вкусностями, какими принято потчевать внуков в приличном еврейском семействе, где бульон с клецками и сладости были, наверное, единственной данью еврейской традиции. Абрамовну я помню плохо. Помню только, что она всегда улыбалась, но это было так давно, что, кажется, вижу саму улыбку, но вот лицо, как ни стараюсь, припомнить не могу. Зато не забыть мне ее челюсти, которые она вынимала изо рта и клала пе-

ред сном в банку с водой. Сперва я их боялся, но потом привык и всякий раз пытался разглядеть из ее рук: трогать их не разрешалось. Я строил планы похитить челюсти и наиграться всласть, но мне всё не удавалось встать раньше бабушки. Просыпалась она чуть свет и тут же бралась за дела: полола грядки, носила воду, штопала мои носки или зашивала рубашки, суежилась на кухоньке среди чадящих керосинок, палила курицу, варила варенье, укладывала в поленницу дрова или отправлялась в магазин. Перед сном она читала мне “Чука и Гека”, “Каштанку”, над которой я горько плакал, и сказки Андерсена, но точно не “Русалочку”, ее я прочитал уже сам на Беговой и ревел так, что мама и Юрьевна долго меня успокаивали, а я только громче плакал и успокаиваться не желал.

Чтобы закончить с папиной родней, следует рассказать еще о моем знаменитом дяде Юзе и его героических подвигах. Юз якшался со шпаной с Калужской заставы. Однажды его подрезали ножом, и он, истекая кровью, добежал до дома, откуда немедленно был доставлен в Первую Градскую. Вызванный милиционер пытал дядю, но тот, блюдя уличный кодекс, имя нападавшего не выдал. Во время войны, лет четырнадцати от роду, Юз сбежал на фронт и каким-то чудом нашел воинскую часть отца. Скорее всего, это случилось еще на территории России, хотя точного расположения подразделения, где служил дед, история не сохранила. Позднее Юз смеялся над моими фантазиями: я почему-то был

уверен, что дед служил в дальней артиллерии. Оказалось, Ефим, провоевавший всю юность, к последней войне поумнел и устроился в интендантскую службу, чем, вероятно, и спас свою жизнь.

Итак, четырнадцатилетнего прибалтийского и рвущегося в бой дядю привели к отцу. “Накормить, помыть и отправить в Москву!” – приказал майор Алешковский ординарцу, что и было незамедлительно исполнено.

Второй подвиг Юз совершил уже после войны. Тетя Аля из Свердловска, врач и какая-то довольно близкая наша родственница, прошла всю войну вместе с легендарным генералом Доватором. Все эти годы она состояла в близкой связи с начальником его штаба, которого сильно любила и которому осталась верна навсегда. После победы стало понятно, что ее боевой друг возвращается в лоно семьи. На прощание он подарил ей пистолет “ТТ” с дарственной надписью от Доватора, именное оружие заменяло у партизан боевые награды. Тетя Аля никогда с пистолетом не расставалась и носила с собой в сумочке. Юз засек вождьеленный пистолет и, воспользовавшись случаем, его выкрал, дождался, пока все уйдут на работу, лег на пол в кухне и через открытую дверь принялся расстреливать водосточную трубу. После второго выстрела пистолет намертво заклинило. Дядя тут же отнес его на улицу и поделился проблемой со старшими товарищами из калужской шпаны. Его поблагодарили, взяли оружие, пообещав починить и вернуть, и той же ночью вломились к вдове

какого-то адмирала. В ходе налета бедную адмиральшу застрелили из этого “ТТ” насмерть. На другой день налетчики были пойманы, Юз оказался в кутузке и вскоре предстал перед судом, гордо отказавшись от адвоката.

– Представьте себе мальчика, всю жизнь мечтавшего о боевом пистолете, – начал свою речь дядя Юз. – Когда я его увидел, я просто не смог удержаться и решил пострелять в окно по водосточной трубе...



Марк Алешковский и Герман Фёдоров-Давыдов после заседания научного студенческого общества

И далее и далее – с напором и слезой в голосе. На прошедших недавнюю войну судейских его честное признание произвело впечатление. Случилось невероятное: советский суд оправдал дядю Юза, отобрал “ТТ” у безутешной тети Али, а “калужских” налетчиков и убийц отправил надолго в места не столь отдаленные. Тетя Аля больше с Юзом никогда не разговаривала, сосредоточив всю родственную любовь на моем безопасном папе. Юз, впрочем, “свое отсидел”, как он заявил в одном из интервью, честно добавив, что угодил в лагерь не по политической статье, а за хулиганку. Энергия и задор, сохранившиеся в нем и сегодня, толкали его по молодости на приключения и разрывали сердце тихой любящей матери. Мой законопослушный отец, наоборот, всегда избегал улицы, в дружбе со шпаной замечен не был и знания предпочитал черпать из книг.

Дед Герман с бабкой Юрьевной до войны не только сплавились по Волге, но и вообще много путешествовали по центральной России, смотрели памятники архитектуры, что важно для всех ценителей изящного, а для искусствоведов особенно. Помню, как они захлеб рассказывали о новгородских церквях – на Нередице, на Волотовом поле и на Ковалёве, в юности успели их повидать во всей красе, расписанными сверху донизу. Рожденным после войны эти потрясающие древнерусские памятники достались уже отреставрированными, восставшими из руин. Фрагменты фресковой росписи, сохранившиеся на стенах, теперь укреплены и поставлены под охрану. Тонны земли из отвалов, выросших вокруг уничтоженных артобстрелом церквей, были пропущены сквозь проволочное сито. Найденные осколки штукатурки были отмыты, пронумерованы и разложены по цветам. Многолетние титанические усилия реставраторов дали невероятный результат: из тысяч и тысяч кусочков пазла к нам вернулись, казалось, навсегда утраченные лики, которые теперь можно увидеть в Новгородском музее. А знаменитая ктиторская фреска снова заняла свое исконное место на правой южной стене Нередицы, ее собрала и закрепила реставратор Татьяна Ромашкевич. Глядя на нее, особо остро ощущаешь, как мог бы выглядеть весь расписанный объем, ко-

тогого мы лишились. Великолепие красок, жившее в памяти моих стариков, теперь существует лишь на довоенных черно-белых фотографиях, то есть утрачено навсегда.

Еще бабка с дедом любили ездить в Коктебель, где собиралась московская компания. Правда, к литераторам, загоравшим на собственном пляже, они отношения не имели. Заходить на территорию Дома творчества писателей считалось зазорным. “Пляжи для писателей, читателям же – фиг”, – споет позже Юлий Ким. Презрение к любой номенклатуре ненавязчиво прививалось мне с детства.

По совету участкового терапевта Алёхина бабка однажды вывезла меня в Крым. Считалось, что самый полезный месяц на море – май, когда солнце еще не такое жаркое.

Мы сели в поезд. Ночью, где-то в Джанкое, я проснулся от сильного удара – качнуло весь состав. Бабка успокоила меня, объяснив, что к нам только что прицепили паровоз. Линия электропередачи в Джанкое кончалась, дальше ехали на угле. Утром, едва выпив чаю, я выскочил в коридор и прильнул к окну – ждал и дождался затяжного поворота, когда идущий впереди паровоз был отлично виден. Он был длинный и черный, дым из трубы заносил в окна сладковатый запах угольной пыли, лицо мое скоро стало черным, как у негра. Бабка решительно опустила окно и повела меня в туалет, где долго отмывала мылом.

На крымских станциях, пока паровоз заливали водой из огромной трубы на водокачке, я наблюдал, как струя рвется

из серебристого раструба в ненасытное брюхо огромной бочки, и не хотел уходить, пока вода не начала стекать по черным бокам паровозной цистерны, усеянной большими заклепками. Отвлечь меня можно было только едой.

Богатый московский поезд встречали даже ночами. Во время стоянок, а они были длинными, площадь вокруг вокзала превращалась в шумный базар. Я воспринял это людское столпотворение как особый праздник – на московских рынках я еще не бывал и впервые столкнулся со свободной советской торговлей, поразившей меня размахом и объемом.

На перроне вдоль центральных вагонов стояли женщины с корзинами, накрепко связанными полотенцами, – так легче было переносить их на плече. Там, под чистыми тряпицами, в эмалированных кастрюлях, мисках, тарелках и тарелочках лежали дымящиеся вареники, пироги, пирожки и огромные картофелины. В темноте поблескивали стеклянные банки с огурцами и помидорами, плававшими в остро пахнувшем укропом и чесноком рассоле. Изобилие еды, спрятанной в глубине плетеной тары, напоминало дворовые “секретики”. Сбрызнутая холодной водой зелень, круги пластового творога и козьего сыра лежали прямо на земле – на газетах, старых рушниках или гладкоструганых дощечках. Еще торговали семечками, ватрушками, сушеной таранькой, огромными черными сухими котлетами, каждая размером с мою сандалию, и страшными кольцами кровяной колбасы. Бабка рассказала, что делают ее в чане, где долго варят подсоленную

кровь, помешивая ее огромной ложкой, чтобы та не свернулась. Рассказ был таким страшным, что кровяную колбасу на неизвестной южной станции я запомнил навсегда. Мы купили вареную картошку, посыпанную зеленым луком и политую прозрачным желтым маслом, два соленых огурца и два помидора, по пирогу с яйцом и зеленым луком и несколько теплых ватрушек, пряно пахнувших корицей. Почти все наши попутчики накупили семечек, пива и тараньки. Платформа вмиг покрылась шелухой и пустыми бутылками, за которыми охотились местные мальчишки. Бутылки можно было сдать по двенадцать копеек за штуку – хорошие по тем временам деньги.

Пиво в нашей семье почему-то не пили. Как-то на дачной станции, взяв себе большую кружку пива из бочки, а мне стакан кваса, дед сказал, что когда я вырасту, он сводит меня в хорошую пивную. Потом он еще обещал мне дегустацию вина, но обещаний не сдержал. С разного рода напитками я познакомился сам – на то была улица.

Посреди степи наш поезд встал. Впереди начиналась однокорейка, и мы пропускали встречный состав. Проводники открыли двери, предупредив, что стоять будем час. Все высыпали из вагонов. Кто-то уселся выпивать и играть в карты, кто-то просто развалился, подставляя бледное московское лицо майскому солнцу. Мы с бабкой чинно уселись на пляжной подстилке, в стороне от общей толпы, и я запомнил острый запах сухих серо-зеленых кустиков, росших вокруг.

Это была степная полынь – главный запах Крыма, который я с тех пор очень люблю. Если повесить пучок полыни в бане, горячая влага проникнет в сухие веточки и аромат разнесется по всей парной. Лучше всего брать полынь золотистую, в ней нет излишней горечи, как у обычной степной, которую мы в южных археологических экспедициях по вечерам после работы бросали в бутылку местного самогона-чемергеса. Полынь превращала пойло в “степной ликер”, как мы называли облагороженный напиток.

Кажется, ехали мы дня полтора. В Феодосии сели в такси и прикатали в Коктебель, встретивший нас маленьким планером, застывшим на постаменте перед въездом в поселок, после войны здесь обосновались спортсмены-планеристы. Планер на постаменте был советским символом этого места, сменившего старое тюркское название, данное ему крымскими татарами, депортированными в 1944 году, на нейтральное “Планерское”.

Поселились мы у Оноприенок, которые летом сдавали комнаты москвичам. На это время семья перебиралась в маленький домик на задах участка. Оноприенки жили недалеко от Габричевских – семьи искусствоведов, имевших в Коктебеле собственный дом, где они жили с мая до глубокой осени. С ними бабка издавна дружила, к ним мы заходили каждый день, пили чай с вареньем, и, пока взрослые разговаривали, мы с девочкой, кажется, дальней родственницей хозяев, имени которой я не запомнил, залезали на каменную

стену, ограждавшую участок, и сидели, спрятавшись от всех, в буйных зарослях фиолетового миндаля и акации. Трава в саду и камни ограды были усыпаны белыми лепестками отцветающей вишни.

Девочка была старше меня на год или два, и я с интересом слушал ее рассказы. Как-то вечером, после заката, когда море, тихое и маслянистое, лежало огромным пятном внизу под горой, далеко-далеко на воде вспыхнул, погас и опять вспыхнул огонек. И тут моя новая подружка рассказала историю про Ассоль и алые паруса, которая, как потом выяснилось, совсем не походила на описанную в книге Александра Грина. Говорила она тихим шепотом, иногда почти принося к моему уху, от чего по коже бежали мурашки, а в ухе было щекотно. Речь шла про проданную на невольничьем рынке в Турции девушку-сироту, которая сумела сбежать от фашистов и ушла воевать к партизанам – на шхуну с алыми парусами. Капитаном этой шхуны был дед моей подружки, боевой офицер, чья фотография висела у них в доме. Так вот, однажды ночью в дедушкин дом пришли фашисты и повели его с бабушкой на расстрел. Но дедушка был очень сильным, он разорвал веревки, поубивал фашистов из нагана и убежал с бабушкой в горы. Потом они нашли шхуну, организовали партизанский отряд, стали плавать по Черному морю и бороться с фашистами. К ним-то и пришла сбежавшая от врагов Ассоль, и ее приняли в партизаны. “Они там, в море, видишь? – шептала девочка и прикладывала палец к гу-

бам: – Только тсс! Это тайна. Об этом никому нельзя рассказывать”. И я поклялся молчать. Я ей поверил, хотя знал, что никаких фашистов уже нет, мы их победили. Ее рассказ был таким убедительным!

Иногда по ночам огонек снова загорался на горизонте – шхуна бороздила морские просторы. Она и сейчас там, только увидеть ее удается не всем.

Слово “фашист” было главным ругательством во дворе. И очень обидным. Если кого-то так называли, ответ следовал незамедлительно: “Сам фашист!” – кричали обзывавшемуся в лицо, а иногда и бросались на него с кулаками. Другое дело – партизаны, они защищали всех “обиженных и угнетенных”, как сказала коктебельская подружка. От того ее рассказа осталось волшебное ощущение доверия, почти счастья, долго меня не покидавшее. Много сильнее, чем то, что я ощутил, увидав Милкин “секретик”.

Огонек на море загорался с наступлением сумерек каждый день. Девочкин дед в папаше со звездочкой (как на той фотографии) неизменно стоял за штурвалом – в штиль и в непогоду, любые бури были ему не страшны. Вслед за одиноким огоньком начинали зажигаться звезды и слышался стрекот цикад. Теплый ночной воздух источал ароматы цветущего сада и каким-то образом был связан с огромной тайной, в которую я был посвящен.

Много позже я узнал, о каких “фашистах” шла речь. В тридцать седьмом году в дом деда моей подружки, красно-

го командира, пришли и забрали его с женой. Их маленькую дочь воспитала тетка.

У Габричевских, как это часто бывает в хлебосольных домах, по вечерам собиралась большая компания, но я почему-то запомнил только одну милую старушку (возможно, и не старую вовсе женщину, но какую-то скрюченную и морщинистую), которая каждый день вставала ни свет ни заря, уходила в горы и возвращалась перед обедом с охапкой тюльпанов. Несколько раз она приносила цветы и нам. А еще она ходила собирать каперсы. Слово было незнакомое, старушка объяснила, что каперсы солят, а потом варят с ними суп. Она так восторгалась этими каперсами, что было понятно: этот редкий деликатес можно найти только в крымских горах. Загадочное слово жило во мне долгие годы, пока, после перестройки, каперсы не начали продавать в магазинах. Сварив солянку, я оценил их по достоинству, но особого восторга не испытал. Впрочем, это и понятно – собранные на коктейльских лугах, мелкие нераспустившиеся бутоны колючего кустарника выглядели самыми вкусными на свете.

По утрам мы ходили на море – холодное, соленое, бурное или спокойное. На водной глади солнечные блики плясали до самой темной полосы горизонта, на ней, как в тире, виднелись жестяные силуэты кораблей, направлявшихся в Феодосийский порт. Волны сбивали с ног, с шипением растекались по гальке, таща ее за собой, чтобы подкинуть взамен новые блестящие окатыши.

Если отсчитать от самой высокой волны восемь катящихся за ней, то девятая снова будет самой высокой и свирепой. Всегда хотел спросить ученых, почему так происходит, но не случилось, на практике много раз проверял – работает железно. Мы всегда считали волны. Выглядев девятую в море, стояли по пояс в воде и ждали ее, принимая более мелкие волны боком. Надо было чуть подпрыгнуть, чтобы пропустить основной объем воды под собой. Девятая росла на глазах, приближалась к пляжу и накрывала с головой, неся к берегу. Тут важно было успеть впиться в песок пальцами, локтями и коленями или, на крайний случай, позорно упасть на живот.

Пляж был галечный, и если я не бултыхался в воде, то бродил по кромке пляжа, выискивая камешки. Самые красивые забирал домой, где они мгновенно тускнели и умирали, но стоило положить их в банку с водой, как они оживали

вновь. Дни напролет я искал большой сердолик и куриных богов. Сердолика в результате так и не нашел, хотя, по воспоминаниям бабки, до войны их постоянно выкидывало на берег, а вот куриных богов привез в Москву много и раздал друзьям во дворе.

Бабка разделяла мою страсть к камешкам. По вечерам мы вынимали их из банки и раскладывали на столе, отбирая лучшие. Мы редко сходились во мнениях, и бабка просила объяснить, почему мне нравится тот, а не другой.

Эта игра началась еще в Москве, в Музее изобразительных искусств, куда она меня водила. Поднявшись по огромной лестнице на второй этаж, мы смотрели сверху на статую Давида. Помню, я подумал однажды: если Давид такой огромный, какой же громадиной должен был быть Голиаф? В первый наш приход бабка подвела меня к стеклянному стеллажу с крито-микенскими находками и предложила выбрать одну-единственную вещь и объяснить свой выбор. Я показал на обоюдоострый кинжал с охотничьей сценой, где длинноногие собаки бежали за длинноногим оленем. Бабка согласно кивнула головой, но потребовала объяснения. Внимательно выслушав про собак и оленей, она указала на огромную глазчатую бусину и пояснила, что приглянулось ей в этой, по-моему, бесполезной вещице. Заставила меня представить молодую женщину в таких бусах на шее и короткой тунике, как на статуе Дианы-охотницы из Греческого зала. Подглядев псовую охоту в ее заповедном лесу, богиня спасла ма-

ленькую лань, льнущую к ее ноге, и достает стрелу из заплечного колчана, чтобы наказать охотников, вторгшихся в ее заповедный лес без разрешения. У богини не было бус на шее, но придумывать историю и представлять, как бы ей пошло ожерелье из глазчатых бус, было очень интересно. Игра мне понравилась. Позже я понял, что так бабка исподволь знакомила меня с навыками описания и анализа, обязательными для любого искусствоведа, – этот курс читается в самом начале обучения. Иногда мы останавливались на входе в музей, и она рассказывала про строение фриза, про ордера колонн, показывая, чем коринфский отличается от дорического. Так я учился ценить не только вещи, но и то, как они сделаны.

Любовь к камням жива во мне до сих пор. Я везу их отовсюду, свободные места на книжных полках завалены темными отполированными спилами и друзами, окаменелыми кусками древних деревьев, чертовыми пальцами, спиральями наутилусов, очищенными от наслоений известняка экзоскелетами древних трилобитов. Где-то в стенном шкафу хранится полведра прибрежной гальки с Сахалина. Я не теряю надежды найти галтовщика, чтобы после обработки разыскать в грудe случайных камней благородную яшму, прозрачную, если смотреть через нее на солнце. Мастер распилит ее на тонкие пластинки, отшлифует, и я буду разглядывать в открывшихся линиях причудливый пейзаж, как делаю это порой с другими камнями, поселившимися у меня дома. А ведь можно еще пойти к ювелиру, заказать брошь и подарить

ее кому-нибудь. Если подумать – чистой воды маниловщина: дарить брошь мне особо и некому, но мне важно, что сахалинские окатыши ждут своего часа, а дождутся ли, по большому счету несущественно.

А еще мы ходили на гору. Восхождение начиналось по лысой, протоптанной тропинке прямо за забором Оноприенок. Цветущие вишни и миндаль оставались внизу, уступая место открытому пространству альпийского луга. Здесь царил ветер, иногда приходилось даже надевать свитер. Поднявшись к перевалу, мы присаживались на землю или на морщинистый обломок скалы, весь в разноцветных лишайниках и темно-зеленой бороде мха, смотрели на распахнувшееся внизу море – синее-синее, в белых барашках, вскипающих на верхушках особо высоких волн, и молчали. Дух захватывало от высоты, от открывшегося пространства, от мощи серых скал и трав, колышущихся под налетающими из близкого поднебесья шквалами. Природа здесь говорила на языке слитных шумов, нежных шорохов и тонких затяжных посвистов.

Бабка закуривала сигарету. Я видел только, как блестят ее огромные глаза, доставшиеся ей в наследство от греческих предков Зографов. Юрьевна оставалась красавицей до самой старости, лишь в последние годы как-то уменьшилась в размерах и поседела. Докурив сигарету, она давила окурок подошвой кеда и обязательно прятала его под какой-нибудь камешек или в расщелину. Мы вставали и, быстро пройдя пе-

ревал, начинали спускаться на горные луговины.

Здесь открывалось другое море – море тюльпанов: яркие светло-красные пятна на свежей зелени стекали вместе с ней куда-то под откос, как бесконечная отара. На спуске к луговой чаше отдельными группками, заняв круговую оборону, росли пышные кусты розово-фиолетовых горных пионов, словно другие животные из стада, не желающие кормиться вместе с овечьим стадом. Мы собирали по букету, больше Юрьевна рвать не разрешала, как бы предвидя будущее полное истребление этих удивительных коктебельских эндемиков. Теперь толпы туристов вытоптали гору, а по перевалам, как мне рассказывали, катаются на квадроциклах. В студенческие годы, после месяца работы в археологической экспедиции в Евпатории, мы с другом прошли пешком весь горный Крым, облазили средневековые пещерные города и палеолитические гроты. Дважды мы с женой вывозили детей в Крым на биостанцию. А в конце девяностых мне довелось участвовать в библиотечном конгрессе в Судаке. Помню толпу на замусоренной набережной. Прохладный ночной воздух пропитался едким дымом бесконечных мангалов, на которых готовили шашлыки и осетрину. Дым и жирные запахи еды заглушали здоровый йодистый аромат моря. Тишину южной ночи оскорбляла назойливая музыка. Только плещущееся вдалеке под набережной море было прежним, как и звезды над ним, яркие, южные. Ехать на отдых в такой Крым, еще и ставший снова “нашим”, мне совершенно не хочется.

Еще мы ходили пешком в Старый Крым. Это была прогулка на целый день, от которой осталась в памяти волшебная поляна в темном лесу. Мы набрали на нее неожиданно. Шли и шли по бесконечной тенистой тропинке, под сводами огромных деревьев. Ноги утопали в дубовых листьях, будто вырезанных по трафарету. Если наподдать по куче, тяжелые, налитые сыростью листья неохотно разлетались в стороны, и в воздухе возникал запах плесени. На стволах и на выпирающих из земли валунах рос темно-зеленый мох. Отовсюду свисали сухие нити прошлогоднего хмеля, похожие на оборванные ванты из книги про остров погибших кораблей. Всё здесь было немножко сказочным, не таким, как знакомый акатовский лес. Ни тебе елей, ни берез, даже кусты были не гибкие и хлесткие, а непроходимые и колючие, норвящие зацепить и задержать, как заросли в сказке о спящей царевне.

День был солнечный, но в лесу царил душный полумрак. Сквозь застывшие небо ветви едва пробивались косые лучи солнца, острые и тонкие, чуть толще цыганской иглы, которой в Акатове подшивали валенки. Солнечные зайчики прыгали по земле, карнавальные и веселые в этом царстве полудремы и сумрачного покоя. Темная птица с истошным щебетом перелетела через тропинку чуть впереди, будто хоте-

ла отсечь нам путь. Мелкие птички скакали с ветки на ветку и, распушив хвосты и грозно покачивая клювами, сгоняли подлетающих сородичей. Через тропу тянулись бугристые корни. Бабка по возможности обходила их стороной, а я перескакивал, воображая себя индейцем. В том лесу мне не нужны были посторонние, даже бабка, путешествие по нему было похоже на увлекательную игру.

Лес казался нескончаемым и вдруг оборвался. Открылась поляна с остатками каменных ворот. Свод ворот лежал на двух толстенных квадратных столбах, от которых в разные стороны тянулась полуразрушенная каменная стена. В воротных столбах остались крюки, но сами ворота исчезли: наверное, их унес в свое логово косматый великан, чтобы сделать из прочных дубовых створок щиты для себя и своего сына. За кирпичными воротами виднелась темная громада замка с пустыми провалами окон. Сбоку была лестница – вход в замок. Дверей тоже не было, только узенькие колонны по бокам с сохранившимися кое-где остатками штукатурки. Кирпич на стенах был повыбит. Над замком возвышался купол с покосившимся железным крестом, походившим на клин, забытый в колоде для колки дров. В дальнем конце замка торчала башенка с остроугольной черепичной кровлей, поросшей темным лишайником. Оттуда, наверное, было удобно стрелять по врагу. В башенке на толстой кованой балке висели два колокола, побольше и поменьше.

Это оказалась церковь, а вовсе не замок. Мы обошли ее,

взобрались по старой лестнице главного входа внутрь, поднырнув под башенку-колокольню. Пол был вымощен квадратными плитами и аккуратно подметен, но выбитые окна, проломленная черепица и полное безлюдье говорили о том, что церковь давно стоит пустая. Штукатурку на стенах кто-то нарочно посбивал, кое-где виднелись следы сильных ударов чем-то острым и колким. Били намеренно по рисункам на стенах, и лишь наверху сохранились картины, похожие на те, что я видел в Третьяковской галерее. Но в Третьяковке они были нарисованы на холсте или на дереве, а тут прямо на стенах. Силуэты бородатых людей и Бога на облаке с простертой рукой, пухлощекие херувимчики с крылышками, растущими откуда-то из-за ушей, пострадали от воды, просочившейся сквозь дырявую крышу, и покрылись белым налетом и черной плесенью. Бабка стала объяснять устройство крестово-купольного храма. Кругом было пусто, таинственно и волшебю. Голос Юрьевны звучал гулко, отражаясь от стен и сводов, я почти не слушал ее, не мог оторвать глаз от воина на коне, проколовшего копьем дракона. Хвост дракона вился кольцами, древко копья застряло в зубастой пасти с огненным языком. Красный плащ воина развевался позади. Это был святой Георгий, его я уже знал. А еще я знал от Юрьевны, что Георгиями и Николаями любили называть мужчин в роду Зографов, бабка рассказывала мне об этом еще в галерее. Деревянный Николай, кстати, там тоже был, такой бородатый дедушка с мечом и маленькой игрушечной церковкой,

которую он держал на левой ладони.

На улице случилось чудо. По неприметной тропинке прямо из леса вышел один из нарисованных на стене святых. Правда, он был молодой, с длинными и черными как смоль волосами и густой бородой, закрывавшей грудь. Святой носил такую же странную черную одежду до пят. На руку зачем-то намотал деревянные бусы с деревянным крестиком. О чем мы разговаривали, не помню. Тайно живший здесь святой поприветствовал нас, улыбнулся и положил мне на голову руку, тяжелую и теплую. Говорили мы недолго, бабка монахов и попов недолюбливала, но тот, кого я принял за сошедшего со стены, подсказал нам дорогу к поселку и роднику. На прощание он поводит в воздухе странно сложенными пальцами, вошел в церковь и исчез. Мы пошли по тропинке, по которой пришел монах, и вскоре нашли родник и напились холодной вкусной воды. Недалеко от родника в зарослях сирени спрятался игрушечный домик с маленьким окошком. Такие стояли на площадке в детском саду, но у здешнего на крыше была жестяная труба с загогулиной, как у самовара. Мне так хотелось в него заглянуть, но бабка не пустила.

В Старом Крыму Юрьевна накормила меня шашлыком. Повар уличного кафе долго жарил мясо на сложенном из кирпичей мангале. Я быстро съел салат и хлеб и весь извертелся, пока не получил наконец вождеденный шампур. Одним движением огромного ножа мангальщик ловко снял

мясо прямо мне на тарелку, оно пахло дымом – настоящий шашлык, как у всех путешественников!

Обратно возвращались на такси, в котором я заснул. Во сне я видел что-то про бородатого монаха и волшебный лес, но сна не запомнил, зато сам поход сохранился в памяти куда лучше волшебных снов, что забываются по пробуждении.

Еще мы ездили на биостанцию, которая находилась в бухте по другую сторону горы. Габричевские предпочитали ходить туда пешком через перевал, но нам с бабкой пешком было не дойти. Мы ехали на автобусе мимо виноградников на склонах, где жгли старую лозу. Всю дорогу я разглядывал дымки от костров, иногда разложенных совсем у дороги, а иногда далеко на холмах. Дым костров поднимался в синее южное небо тоненькими серыми змейками. На биостанции, в белом доме, находился музей природы края. Огромная кефаль с мертвыми глазами плавала в спиртовом растворе. Крабики, рапаны, мидии, рыбки и какие-то противные слизни жили в глубоких прямоугольных аквариумах, куда по специальным трубкам подавался воздух. Бусинки серебристых пузырьков, спешащих снизу к поверхности воды, показались мне куда интересней вяло передвигавшихся обитателей морского дна. Всюду стояли чучела: зайцы, волки, вороны с поблекшими сизыми перьями, лесные горлицы, чайки с плешивой грудью. Мертвые и стеклянноглазые, они были неинтересны, разве что чучело орлана-белохвоста, поразившее меня размахом крыльев. Жуки-носороги с рогами между глаз, саранча, страшная медведка, сухокрылые и лупоглазые стрекозы – куда им было до любимого мной палеонтологического музея с его ихтиозаврами, диплодоками, птеро-

дактилями, брахиоподами, челюстями акул-людоедов, в которые можно было войти, как в дверь, и огромными каменными улитками, похожими на бас-геликоны, стоящие в углу позади оркестра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.